
СОВѢТАМЪ!
В. АБЛОВ
Из юношеского
далека

ОБ АВТОРЕ



Виктор Николаевич Аблов — старый большевик, активный участник гражданской и Великой Отечественной войн, бывший партийный работник, журналист.

В воспоминаниях «Из юношеского далека» он пишет о своей боевой молодости, о революционной борьбе и установлении Советской власти в городе Мелекессе, об огненных годах гражданской войны.

Со страниц воспоминаний встает светлый образ одного из видных руководителей мелекесских большевиков Евгения Аблова, старшего брата автора настоящих записок.

Имя Евгения Аблова, отдавшего жизнь за Советскую власть, хорошо известно в нашем крае. Воспоминания о нем родного брата особенно дороги нам, тем более, что об этом стойком революционере, о его боевой, кипучей деятельности пока мало что известно.

В записках В. Н. Аблова большое место отводится воспоминаниям очевидца о пережитых ужасах белогвардейского ада—«эшелона смерти», о борьбе его бывших узников против колчаковцев в Сибири.

В настоящее время Виктор Николаевич Аблов — персональный пенсионер, проживает в Волгоградской области.

В. АБЛОВ



Светлой памяти брата моего Евгения посвящаю...

Из юношеского далека

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРИВОЛЖСКОГО КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
1967

Виктор Николаевич *АБЛОВ*

ИЗ ЮНОШЕСКОГО ДАЛЕКА

Редактор *М. И. Никитин*

Художник *А. К. Павлов*

Корректоры: *М. Ф. Каравашкина* и *З. В. Никитина*

Сдано в набор 1/VII 1967 г. Подписано к печати 19/XII 1967 г.
Формат бумаги 70×108[1]/$_{32}$. Объем: 2,63 п. л.
(3,68 усл. п. л.); 3,58 уч.-изд. л. 3М04159. Заказ № 4793.
Тираж 5000 экз. Цена 7 коп.

Ульяновское отделение Приволжского книжного издательства
г. Ульяновск, ул. Можайского, 24.
Типография **областного управления по** печати.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

С ТОЙ поры минуло почти полвека. Те события становятся достоянием истории. Но и поныне кровоточат раны — неизгладимый след белогвардейского ада. По сей день сердце переполняется жгучей ненавистью к палачам при воспоминании об «эшелоне смерти».

Есть страницы прошлого, забвение которых равносильно предательству перед молодым поколением. И думается, я не выполнил бы своего гражданского долга перед нашей сменой, если бы не попытался рассказать об одной из чудовищных и весьма поучительных страниц белогвардейского террора в Поволжье и Сибири в годы борьбы за Советскую власть.

Нам, старым коммунистам, хорошо известна лютая ненависть и бешеная ожесточенность классового врага. Еще тогда, при рождении власти Советов, мы видели «гидру контрреволюции» в ее натуральную величину. Еще в том далеком, 1918 году, мы на собственном опыте познали, что буржуа, почувствовав приближение своего последнего дня, отбрасывает прочь, как ненужную ве-

тошь, все и всякие нормы общечеловеческой морали и готов (если ему не воспрепятствовать), сломя голову, ринуться в пучину самых чудовищных, кровавых преступлений.

Слов нет, сейчас иное время, иное соотношение сил. Враг наш, имя которому империализм, за истекшие десятилетия потерпел такое поражение, от которого ему уже трудно оправиться. Он бесповоротно утерял свою власть над большинством человечества. Пламя священного гнева против отжившего буржуазного строя все ярче разгорается в сердцах тех, кто еще остается в цепях и тенетах капитала. В новых формах и новых масштабах побеждает дело, начатое Великой Октябрьской социалистической революцией под руководством В. И. Ленина и его партии коммунистов. И мы глубоко верим и знаем: тщетны потуги империалистов остановить исторический процесс революционного преобразования мира, как оказались тщетными попытки кровавого Гитлера и его фашистских полчищ огнем и мечом уничтожить завоевания нашей великой революции, преградить путь ее бессмертным идеям.

«Вихрь Октября, — говорил Леонид Ильич Брежнев в докладе на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховных Советов СССР и РСФСР, посвященном 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, — раздул искры революции в могучее пламя. Полвека, прошедшие после Октябрьской революции, убедительно показали ее огромное международное значение. За эти годы изменился весь облик мира — изменился в огромной мере под воздействием Октября и его идей, под влиянием побед социализма». Революционный процесс приобрел подлинно всемирный размах. Нет такого района на земле, где бы не развертывалось движе-

ние за дело социального и национального освобождения.

В этой священной борьбе против империализма народы мира видят перед собой великий вдохновляющий пример Советского Союза и других социалистических стран. Мировая социалистическая система выступает решающей силой в борьбе против империализма, является несокрушимым оплотом мира и социального прогресса. Теперь не империализм, а силы социализма определяют мировое общественное развитие.

Вместе с тем мы знаем и другое: враг наш не уйдет со сцены добровольно. Его наиболее оголтелые представители готовы ввергнуть мир в пучину термоядерной войны, как бы ни была она страшна и опустошительна. Поэтому не может быть места в наших сердцах успокоенности и беспечности, пока на земле не восторжествует мир.

Пусть для всех нас, как завещание, звучат посмертные слова мученика фашистских застенков Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!»

Мои воспоминания о белогвардейском аде, как и записки других бывших узников кровавых застенков русских и заморских «спасителей России», помогут молодому читателю увидеть подлинное лицо врага, познать его омерзительный звериный облик. И я хотел в своем первоначальном замысле ограничиться лишь этой задачей. Но еще в древности было сказано, что дела и поступки людей невозможно понять в отрыве от тех обстоятельств, в которых они возникали и совершались. И я счел необходимым начать свое повествование издалека. Мои записки — это вместе с тем и рассказ о тех обстоятельствах, в которых рождалась власть Советов в одном из глухих уголков царской России — в Мелекесском

посаде (теперь город, расположенный неподалеку от Ульяновска).

В этом местечке жила моя семья, семья «вольнодумцев, крайне опасных для общества», как писали жандармы о таких семьях в своих донесениях. И не будет предосудительным вспомнить о ней и сказать доброе слово хотя бы за то, что она дала одного из руководителей мелекесских большевиков Евгения Николаевича Аблова.

Светлая память о нем, отдавшем жизнь в борьбе за победу революции, и теперь живет в Мелекессе. Одна из улиц города названа именем Евгения — человека, открывшего многим людям великую ленинскую правду. Среди этих людей был и я, его младший брат.

Глава первая

МЕЛЕКЕСС МОЙ, МЕЛЕКЕСС...

НА КАРТЕ старой России был он еле приметной точкой. Ни город, ни село — древний посад, заложенный триста лет назад.

Однако в предреволюционные годы в Мелекессе уже была некоторая промышленность. Достаточно сказать, что льнопрядильная фабрика посада насчитывала 1.500 рабочих. Имелось много паровых и водяных мельниц, известных не только в России, но и за границей. Был лесозавод, пивзавод и немало других кустарных и полукустарных предприятий.

Мелекесс был примечателен и тем, что имел свою гимназию, учительскую семинарию, ремесленную школу, чего не было ни в одном уездном городе Симбирской губернии.

В Мелекессе вершили дела торговые люди, купцы первой гильдии, ревниво оберегавшие традиции и повадки своих именитых, жалованных царской грамотой дедов и прадедов. Их усилиями было создано в посаде «темное царство», основанное на беспощадном удушении всякой свободной мысли, на угнетении и унижении

рабочего человека, на диком невежестве, обмане и произволе.

И еще была такая достопримечательность Мелекесса, характерная для общей картины того времени. К самым домам подступал непроходимый, дремучий лес. Этот зеленый заслон как бы символизировал недоступность посада для «тлетворного» веяния времени.

Вот сюда-то в годы первой русской революции и переселилась из Симбирска наша семья — «сборище смутьянов и нехристей», как прозвали ее купцы и святоши посада. Установив связи с рабочими фабрики, один из моих братьев — Николай немало потрудился, чтобы прорвать черносотенный «зеленый заслон» Мелекесса.

* * *

Был я в ту пору четырехлетним малышом, и историю переселения нашей семьи из Симбирска знаю понаслышке. Слыхал о ней главным образом из уст матери. Вот что она рассказывала.

Отец наш, железнодорожный служащий, получил какое-то наследство и по совету старшего сына Николая, социал-демократа, обзавелся в Симбирске небольшой типографией. Обзавелся и, как сокрушалась и сетовала мать, нажил «бед великих».

В одну из темных ночей нагрянула полиция. Обыск! Полицейские ищейки долго выспрашивали насчет какой-то прокламации, расклеенной по городу. Переворошили весь дом, но ушли ни с чем. Николай, причастный к изготовлению прокламации, вышел на этот раз сухим из воды.

Второй обыск окончился бедой. Была обнаружена «крамольная» брошюра, искусно переплетенная вместе

с рассказами Чехова. Однако виновника задержать не удалось. Покинув пределы отечества, Николай был в недосягаемой Швейцарии.

Типографию же, разумеется, закрыли. Для отца, Николая Николаевича «старшего», она была хлебом насущным (в семье насчитывалось пятнадцать душ). Долго он околачивал пороги жандармского управления, но безрезультатно. Ему предложили убраться подальше от города «со всем своим заведением».

Так наша семья оказалась в Мелекессе.

Кстати сказать, тогда же «убрали» из Симбирской гимназии среднего моего брата — Евгения. Было ему в ту пору лет 10—12, и неизвестно, чем руководствовались симбирские «держиморды от просвещения», изгоняя его из гимназии. Этот изгнанник, закончив свое образование самостоятельно, дал о себе знать господам в 1917 году...

Глава вторая

В ТИШИ ЛЕСОВ

МЕЛЕКЕСС встретил нас неприязненно. Отцу не раз приходилось кочевать с квартиры на квартиру со всем своим типографским имуществом. Выселяя нас, домовладельцы подыскивали какой-нибудь предлог. Нередко они заявляли, что не могут терпеть квартирантов, не посещающих храм господний. У нас действительно никто не наведывался в этот храм, если не считать матери. Она строго соблюдала церковные обряды, а в великий пост прятала куда-то от нас, «нехристей», все наши музыкальные инструменты.

Не давала покоя и полиция. Не раз глубокими ноча-

ми погромщики поднимали и меня, несмышленого ребенка. Мать полная тревоги шептала: «Встань, сынок, опять с обыском пришли».

Все тайные сходки рабочих, все прокламации, изредка появлявшиеся на купеческих домах, — все приписывалось козням нашей семьи (тупые царские ищейки не в состоянии были разглядеть деятельности фабричной большевистской организации, возглавляемой слесарем фабрики Яковом Егоровичем Пискаловым, членом партии с 1905 года). Разумеется, и наша семья была причастна к этим «козням».

Когда я повзрослел, стал свидетелем маевки 1912 года. Тут в самом деле не обошлось без старшего брата Николая.

Вернувшись из-за границы и отсидев в тюрьме, он ненадолго появился в Мелекессе. Помню, как Николай инструктировал брата Евгения, посылая его расклеивать листовки. Помню и разговор Николая с отцом за вечерним чаем.

— Полицейские искали нас на горке, где проводятся воскресные гулянья, а мы после митинга, гуськом-гуськом, обошли их дальней просекой, — посмеивался Николай, рассказывая о лесной сходке рабочих.

Вскоре старший брат, как в воду канул. Остались лишь его книги—«дар бесценный», как называл их отец. Работы Маркса, Ленина, Плеханова, книги Герцена, Белинского, Чернышевского, Писарева — вот далеко не полный перечень того «дара».

Как святыню, берегли мы эти книги, тщательно укрывали их от глаз полиции. Сотни томов русских классиков маскировали революционную литературу. Только близкие друзья Евгения получали к ней доступ.

Делалось это по-всякому. И прежде всего припоми-



Евгений Аблов

наются вечерние чтения. Теперь такую форму отдыха редко встретишь. Тогда же у нас, особенно в долгие зимние вечера, обычно собиралась к столу вся семья и кто-нибудь раскрывал книгу.

У «огонька» читали беллетристику, отдавая предпочтение Некрасову, Чехову, Льву Толстому, Горькому. Потом как-то незаметно на столе оказывалась литература иного рода: или «Пауки и мухи» В. Либкнехта, или что-нибудь из Герцена или Писарева, а иногда и из Маркса или Ленина...

Вот на эти-то чтения и приходили два-три гостя, приходили «чайку попить» (водки не знали мы тогда, в семье никто не пил вина, не курил табака).

Запрещенную литературу читали также на коллективной рыбалке и на прогулках в лесу. А иногда книга переходила в дом надежного товарища, а он знакомил с нею рабочих ткацкой фабрики. Такая пропагандистская деятельность нужна была, как воздух, хотя многие товарищи не раз побывали за нее в каталажке посада. До Мелекесса доходили вести о выступлениях рабочих, о демонстрациях, стачках. Где-то там, в больших городах, нарастала буря. У нас же царило затишье. Малейшее проявление протеста кончалось арестом. Причем жертвами оказывались порой люди, весьма еще далекие от организованного протеста.

Однажды потащили в полицию Евгения, стали допрашивать, что он делал на горке, сидя с группой рабочих? Но для ареста повода не нашли: «Пили чай»!

И все же после этого «чая» двое рабочих оказались арестованными. Возвращаясь из леса, они пели недозволенные песни.

Кто-то из рабочей молодежи, бывшей на наших чте-

ниях, отважился декламировать в Народном доме известные стихи Некрасова:

Душно! Без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что-ли?
Чаша с краями полна!

Декламатора потащили в каталажку за «крамольные слова», которые, как нельзя лучше, выражали тогда наше состояние, нашу неудовлетворенность. Душно, нестерпимо душно становилось в Мелекессе.

Евгений вместе с отцом выполнял заказы по переплетному делу. Отличные книги, в коленкоре, с золотым тиснением, выходили из-под его рук. Но иссякли заказы— не так уж много книг и библиотек имелось у жителей посада. Замолчал и печатный станок: огромная сургучная печать полиции красовалась на нем. В доме стало тихо, тоскливо. Только дальние прогулки скрашивали жизнь, — благо лес примыкал прямо к нашему тесному, плохонькому домику.

Теперь Евгений все свое время отдавал чтению. Читал классиков, но прежде всего книги, которые позволили бы, как выражался он, «овладеть не только арифметикой, но и алгеброй революционной борьбы». Томясь от бездействия, он нередко шел с книгой в самый дальний и живописный уголок леса, где, заранее условившись, встречался с друзьями. Ходил он туда и один, а бывало приглашал меня «побыть в тиши лесов». И не было тогда для меня ничего более радостного. Так памятны они, эти прогулки и эти беседы в лесной тиши, так много дали они мне!

Я тоже успел прочитать порядочно всяких книг, прочитать «запоем», без какой-либо системы, и находился,

можно сказать, в состоянии человека, о котором говорят: «Что ему книга последняя скажет, то на душе у него сверху ляжет».

Осторожно, терпеливо распутывал Евгений узел моих юношеских, скороспелых умозаключений и исподволь знакомил меня с азбукой марксизма. Я начал постигать истины, о которых, разумеется, не мог получить ни малейшего представления в затхлой атмосфере мелекесской гимназии.

«Что делать?» Чернышевского, как и для многих юношей того времени, стало и для меня плодом больших раздумий. Хотелось подражать Рахметову, идти на любые испытания, вынести любые муки во имя общего дела, светлого будущего.

Раскрывая смысл этой замечательной книги, Евгений показал мне заслуги и заблуждения революционеров прошлого. Преданность освободительным идеям, готовность, если потребуется, идти под пули врага — все это очень важно. Без такого качества нельзя представить себе революционера. Но не только это, говорил Евгений, определяет облик борца-революционера. И он начинал знакомить меня со сложной и трудной наукой о революции, учил замечать то, что не всякий видит в жизни.

В этих беседах я постигал суть «Манифеста Коммунистической партии» и ленинского «Что делать?», суть борьбы большевиков за чистоту подлинного марксизма.

Круг наших интересов был очень широк. Предметом бесед были и вопросы искусства. Одно время книги Писарева и роман Тургенева «Отцы и дети» настроили меня на базаровский лад, и я пренебрежительно стал относиться к «красотам природы».

Евгений помог мне разобраться в этих заблуждениях, пробудил во мне любовь к прекрасному и, в частности, к родной русской природе, которая окружала нас во всем своем первозданном величии.

Я понял, что чувство природы никак не отнесешь к бесплодному «эстетизму», а искусство — к «одной из форм тунеядства», как утверждал Писарев.

Русский лес, где так хорошо дышится и хорошо думается, говорил нам о многом. В нем мы как бы прикасались к красоте мира сего, к чему-то невыразимо чарующему, и тогда в душе нашей рождалась и крепла потребность сделать жизнь всех людей более осмысленной и значительной. Не даром вдохновенный певец русской природы Пришвин говорил: «Я пишу о природе, а сам о людях только и думаю... Праздник жизни моей еще не наступил, но я знаю, придет этот праздник — всеобщий рабочий Май!».

Мне всегда становится не по себе, когда случается встречаться с той частью современной молодежи, которая с холодным равнодушием относится к природе, к полотнам Шишкина, Левитана, Айвазовского, к пейзажным описаниям Толстого, Тургенева. Неслучайно знаменитый художник — наш земляк Пластов настоятельно рекомендует развивать у молодежи чувство прекрасного, преподавать искусство в школах, как особый предмет, ибо, говорит он, «правда и красота, подобно солнцу, должны светить людям».

Правда, красота и революция... Этот «предмет» был главным в наших беседах. Заходила ли речь о самом, казалось бы, отвлеченном, о музыке, — и тут Евгений находил мотивы борьбы за светлое будущее человечества. Рассказывая о творчестве Баха, этого, как кое-кто думает, сугубо церковного композитора, брат вдохновен-

но повторял его слова: «Я не могу быть счастливым, когда на свете существует страдание».

Там, возле берегов Черемшана, милой, кристально чистой лесной речки, завьюженной в дни мая солнечной белизной цветущей черемухи, я, как зачарованный, постигал с помощью брата истины, ставшие на всю жизнь основой основ моего миропонимания.

Там, в «тиши лесов», я проникался чувством презрения к психологии мещан, полагающих, что весь смысл их существования — это «быть сытым». Маркс в одном из писем к другу, иронизируя над своими личными материальными лишениями, писал: «Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре...»

Еще тогда стал я осознавать смысл и цель жизни. Быть участником борьбы за революционное преобразование старого общества, основанного на нищете и страданиях масс, воспринимать как свое, личное, горе «муки человечества»... Что может быть более возвышенным и привлекательным для молодого человека, стоящего перед выбором своего жизненного пути?

В ту чудесную незабываемую пору юности Правда и Красота в их конкретном образе, как солнце, освещали мне дорогу в жизнь. И глубоко прав был Герцен, утверждавший, что ничто на свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес...

Глава третья

В ПРЕДДВЕРИИ ОКТЯБРЯ

ВСКОРЕ Евгений уехал в Петербург.

Грустно было расставаться с ним. Как-то сложится его судьба, найдет ли он возможность завершить образование?

Знал я, что не только это побуждало его покинуть Мелекесс. Он стремился более активно включиться в борьбу.

В Петербурге ему все же удалось поступить в межевой институт. Однако окончить его не пришлось. Началась мировая война. Евгения угнали на передовую. Но в 1916 году он оттуда сбежал и нелегально вернулся в Мелекесс, включился в революционную работу.

Февральская революция вошла в наш дом весьма своеобразно: на второй же день арестовали отца!

Горькими слезами плакала мать. Не впервой бывать отцу в каталажке, но на этот раз было ей как-то по-особенному обидно.

— Связался, прости господи, черт с младенцем! — заключала она свои причитания.

И недоумевал я: кто же, по ее мнению, в этой курьезной истории черт, а кто младенец?

А дело было так.

Вылезшие на свет божий меньшевики и эсеры свели всю революцию к тому, что убрали портреты царя. Местные органы власти остались нетронутыми. Остались и полицейские, но на их мундирах появились красные повязки.

Вот это самое обстоятельство и привело в неистовство отца. Ждал он великих перемен, а перед ним были

те же омерзительные физиономии «держиморд», вошедших в контакт с сынками купеческими, которые объявили себя «революционерами».

В тот день отец оказался возле полицейского участка, а когда вышел пристав, он с присущей ему иронией поздравил «его благородие» с победой и... сорвал с него красную повязку.

Дюжие молодцы из еще нераспущенной черной сотни подхватили отца и — в каталажку: не бунтуй-де против нашей революции, не поднимай руку на новую, «законную» власть!

Вернулся отец дня через два — туча тучей. Как ни пыталась мать узнать все обстоятельства дела, он отмалчивался и только тяжело вздыхал: толкуй-де с тобой, бабой.

Но когда дошли до него наши смешки, его взорвало.

— Не смеяться, а плакать надо! — обрушился он на нас. — Большевики вы, как я погляжу, книжные, больно тихенькие...

И пошел и пошел.

Евгений снисходительно помалкивал. Кому-кому, а ему-то слишком хорошо было известно, каким чудаковатым, а порой наивным младенцем был и оставался до конца своих дней наш отец.

— Чего вы медлите, чего в книжки уткнули носы? — упрекал он нас и наставительно добавлял: — Книжки книжками, а надо дело делать!..

Но как и что делать — представлял смутно. Свою «деятельность» он сводил обычно к тому, что ругал на чем свет «держиморд». А если доводилось быть на случайных уличных сборищах, отец произносил речи, обычно кончавшиеся для него каталажкой. Речи эти смахивали на призыв, «ударить в колокола», и ударить

так, чтобы остался лишь, как в пьесе Андреева, «голый человек и голая земля».

Добродушно смеялись мы по поводу истории с приставом. Но и гордились своим отцом. Он всегда, пусть по своему наивному разумению, но искренне и бескорыстно готов был положить живот свой за дело революции и, пренебрегая всякими «шкурными» соображениями, стремился, как и мы, ускорить падение власти «держиморд».

Как видите, революционный февраль не принес в дом наш особой радости. И все-таки то была победа, и победа не малая. Февраль поднял на борьбу миллионы обездоленных. Он позволил большевикам открыто выйти на трибуну со своими революционными призывами... Не в тиши лесов, а на многолюдных митингах слышались теперь речи руководителя мелекесской группы большевиков слесаря Пискалова и брата Евгения. Взволнованные, набатные, мятежные.

Однако в Мелекессе, как и по всей стране, тон задавали соглашатели, и казалось, что наших последователей можно было пересчитать по пальцам. Но это только казалось. Опьянение первой победой продолжалось недолго. В убаюкивающих речах меньшевиков рабочие услышали голос предателей, ставящих интересы мелкого буржуа и российского мещанина выше революционных целей пролетариата.

Помнится, в одном из выступлений Евгений показал лицо мещанина, желающего только одного — свертывания революции. Он сравнил его с той купчихой, которая, сидючи за кипящим самоваром, говаривала:

— Свету ли провалиться или мне чаю не пить? Пусть лучше свет провалится, а мне чай всегда пить!

Меньшевики обещали тихую, спокойную жизнь и про-

мышленникам, и купцам, и кабатчикам, всем тем, кому вольготно, весело жилось и при царе. Ну а пролетарии? Они тоже получат свое: может быть, восьмичасовой рабочий день, может быть, даже пятак прибавки на свой по́том и кровью заработанный рубль.

— Нет, не крохи с барского стола нужны рабочим! — говорили большевики. — Рабочие вместе с крестьянами могут стать и должны стать хозяевами жизни! Февраль — это прелюдия социалистической революции. И народ доведет ее до полной победы!

Такие речи воспринимаем мы сегодня как страницы из учебника политграмоты. А тогда? С каким волнением вслушивались в них рабочие!

* * *

Я не пропускал ни одного митинга, ни одного заседания только что созданного Совета рабочих депутатов. Мне не терпелось скорее бы включиться в борьбу. Моей трибуной стала местная гимназия.

В тот самый день, когда выслушал упреки и наставления отца, воспылавшего гневом к мелекесским «держимордам», я поднялся с парты и обратился с речью к учащимся своего шестого класса. Как выглядела эта моя первая речь — сейчас уже не помню. Зато слишком хорошо помню, чем она кончилась.

В классе всякие были ученики — и сыновья именитых купцов, и «разночинцы»: крестьянский сын, стипендиат Кухарский, булочник Мишулин, сын учителя Смагин и др. Верховодили же, конечно, «рыжие», то есть сынки купцов.

Вот эти-то самые «рыжие», не дав мне кончить речь, подняли гвалт невообразимый и потащили меня к инспектору — угрюмому и жестокому блюстителю порядка. Тащили и приговаривали:

— Он тебе покажет революцию! Мы знаем, ты и спишь вместе с братом, и ешь с ним из одной тарелки!..

Ничего не скажешь, обвинение тяжкое! Немало потом посмеялись насчет этого у нас в семье, ведь и в самом деле в нашей тесной квартире и спал я вместе с Евгением, и ел с ним из одной тарелки.

Инспектор оставил меня в канцелярии, а сам пошел на совет к директору. Вернувшись, он сунул мне ведомость и хмуро проговорил:

— Вот, распишитесь тут... О вас, как видите, заботятся — снова уплачено добрыми людьми 50 рублей за право ваше быть в стенах классической гимназии. Вы же отвечаете на заботу возмутительной неблагодарностью.

Отпуская меня, инспектор предостерегающе добавил:

— Знайте, что в дальнейшем мы не допустим насилия над нами.

«Удивительное дело, — думал я, — выходит, что не они совершают насилие надо мной, а я над ними». Поистине свихнулись мозги у этого верного слуги царя и отечества. Он, как и его купеческие воспитанники, не допускал возможности каких-то перемен и полагал, что «мужики должны быть всегда при господах».

Не без тревоги узнавала мать о моих «проступках» в гимназии. А тут еще произошел случай, заставивший ее немало поволноваться. На одном из митингов лабазники схватили Евгения и... сбросили бы, наверное, с балкона второго этажа, если бы не помешали им подоспевшие рабочие.

— Хоть ты-то не ввязывайся в драку! — говорила мне мать. А то, чего доброго, и из гимназии исключат, стипендии лишат.

Присутствовавший при этом отец, повеселевший и как-то преобразившийся, перебивал мать:

— Пойми, старая, времена уже не те, чтобы исключить Витьку! Руки ихние коротки... Если дело пойдет как следует, все ихнее полетит к черту. Будет и на нашей улице праздник!

Что «ихние» руки становились коротки, в этом мы убеждались все больше. Однако атаки на меня продолжались, особенно после того, как я перестал посещать уроки «закона божия»: поп — в класс, я— из класса.

Инспектор бушевал, стремясь воздействовать на меня и дубьем и рублем: «Снимем со стипендии за поведение», — угрожал он и еще больше натравливал на меня «рыжих». Дошло до того, что в сумку вместе с книгами пришлось класть и револьвер. Но... револьвер отобрали, а мне изрядно намяли бока.

Сказал как-то насчет этого брату. Тот подумал, подумал и написал злую записку директору гимназии, дворянину Калинину. В записке, между прочим, говорилось:

«Временное правительство объявило свободу вероисповедания. По сему поводу прошу освободить Виктора от посещения уроков «закона божия», так как для него, как и для меня, высший закон — это закон служения революции». И — подпись: председатель фракции большевиков Мелекесского Совета рабочих депутатов **Е. Аблов.**

О, как взбесился директор, получив это послание! Но руки у него действительно были уже коротки, и он, написал попу записку: «Аблова отпускайте со своих уроков вместе с евреями» (в классе было три ученика из еврейских семей).

Вначале казалось, что Евгений не особенно сочув-

ственно относится к моей «деятельности» в гимназии. Он как-то даже сказал:

— Черт бы их побрал этих твоих гимназистов... Добро бы были люди, а то ведь сплошь ублюдки купеческие. Жалко и порох-то тратить, чтобы в такое время с ними возиться.

Он, конечно, по-своему был прав. Иной строй мыслей, иные заботы, куда более важные, целиком поглощали его. И все же он стал снисходительнее к нам, когда узнал об образовавшемся в гимназии «Союзе шестых классов».

Союз этот (объединение группы учащихся шестых классов мужской и женской гимназий) не был еще коммунистическим. И все же то был первый союз молодежи, помогавший разночинной интеллигенции, точнее ее новой поросли, высвобождаться из мещанского мирка, порывать с психологией мелкого буржуа.

Одним из организаторов Союза гимназистов был Александр Хмельницкий, память о котором хранят и теперь в Мелекессе. Из рук Хмельницкого многие учащиеся получали произведения марксистской литературы. На одном из собраний «Союза» он устроил громкую читку замечательной книги Войнич «Овод» с соответствующими большевистскими комментариями. Речи В. И. Ленина мы особенно бережно доносили до сознания молодежи, стремясь побудить ее стать активным участником нашей борьбы.

Позже Хмельницкий вместе с нами взял в руки оружие, чтобы отстаивать октябрьские завоевания. Он, как и Евгений, погиб от рук белых.

С «Союзом» тесно был связан и Александр Мишулин, мой сосед по парте, ставший впоследствии ректором Высшей партийной школы при ЦК КПСС. С его по-

мощью мы наладили в стенах гимназии выпуск ученического журнала, который печатали на гектографе. В первом номере журнала, к великому смятению учителей, была помещена статья того же Мишулина, рисующая большевиков как «сеятелей разумного, доброго, вечного», как провозвестников «светлого будущего человечества».

Позднее, когда я рекомендовал Мишулина в партию, он, усмехаясь, говорил:

— Тогда, в Мелекессе, я скорее сердцем, чем умом воспринимал революцию. В ту пору мне мечталось стать историком, издать свою книгу. Но уже тогда, в «Союзе шестых классов», я был твердо убежден, что настоящий ученый не может быть околопартийным...

«Союз шестых классов» внес свежую струю и в работу Мелекесского Народного дома. На его сцене шли лучшие пьесы, зазвучали не только стихи Некрасова, но и набатные песни революционной борьбы.

Теперь Евгений уже не мог считать, что я зря «трачу порох». Одно его тревожило: путь, на который я встал, не сулил ничего, кроме новых опасностей. За мной, как и за ним, темными ночами охотились купеческие сынки. Тогда мы еще не могли предполагать, что так скоро придет буря посильнее февральской, которая разметет вправ «темное царство».

Глава четвертая

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

ДЕНЬ за днем большевики все более оттесняли тех, кто пытался доказать, что правительство Керенского и Учредительное собрание — это все, чем должна завершиться революция.

По-прежнему в Народном доме до глубокой ночи шли митинги. Меньшевики лезли из кожи, жонглировали цитатами из Плеханова, Маркса и все же терпели поражение за поражением. В Совете за большевиками шли все депутаты от рабочих.

Пискалов Евгений, Тараканов и другие мелекесские большевики показали себя неплохими ораторами. Их призывы, призывы ленинцев, находили глубокий отклик в рабочих сердцах.

Меньшевики вызвали себе на подмогу одного из своих лидеров, некоего Капцана из Самары. Наукообразная, цветистая речь гостя была встречена молчанием. После же заключительного выступления Евгения аудитория пришла в движение. Послышались возгласы:

— Убрать соглашателей с трибуны!

С трудом удалось большевикам успокоить собрание, чтобы дать меньшевику выступить вторично. Но... выступлению этому так и не суждено было состояться. Выйдя на трибуну, меньшевистский лидер, почему-то стал снимать пиджак, хотя в помещении стоял сентябрьский холод. Аудитория грохнула от смеха. И никакие силы не могли преодолеть этого взрыва безудержной веселости, которая не обещала ничего утешительного для потерявшего дар речи меньшевика. Он только и смог сказать:

— Чего же тут смешного? Мне просто стало жарко...

Да, им очень скоро «стало жарко» в Мелекессе. Совет возглавили большевики. Евгений стал его председателем. И скоро, очень скоро пришел день, когда соглашателей «убрали с трибуны» по всей стране, рухнуло и кончилось их «временное правление». Пришел и на нашу улицу праздник! Великая революция, потрясшая весь мир, совершилась!

Как большой, по-весеннему волнующий праздник, праздник жизни, вошел Октябрь в наш дом. Вернувшись из Петрограда, Евгений возбужденно рассказывал о победоносном пролетарском восстании, о Втором съезде Советов, о первых декретах Советской власти. Мне он привез неоценимый подарок — портрет В. И. Ленина. С портрета смотрел на нас Ильич, близкий, родной, простой, как правда. И, казалось, светлее, уютнее становилось в доме, куда никогда ранее не заглядывала такая беспредельная радость, озаренная правдой и красотой великой долгожданной революции.

Ее благотворное дыхание сказывалось во всем. Льнопрядильная фабрика выглядела по-новому. Ткачи, впервые вздохнув свободной грудью, отстранили фабриканта и установили в цехах свои порядки.

Поприжал Совет и купечество. Банк и все находившиеся в нем купеческие капиталы были объявлены достоянием государства. Крепла связь с окружными деревнями. Все чаще бывали в Совете крестьянские ходоки, в том числе и представители от чувашей и мордвы. По решению крестьянских сходов помещичьи владения отходили в общинный земельный фонд.

В те дни в стенах нашего дома с раннего утра появлялись люди самые разные. Тут были и члены рабочего комитета фабрики, и солдаты, вернувшиеся с фронта, и товарищи, приезжавшие из Самарского комитета партии.

Но однажды я застал у нас в доме необычного гостя — помещицу из усадьбы Немировича-Данченко. Не знаю, имела ли она какое отношение к прославленному организатору Малого Художественного театра. Если имела, то позорила его имя.

Заявилась она с протестом против «произвола» мужиков.

— Раз уж есть какой-то там декрет, — с нескрываемой злой иронией говорила она, — то землю мою пусть берут. Но усадьба принадлежит мне по фамильному праву и Совет, если руководители его не совсем утратили чувства человечности, должен пресечь бесчинства и вернуть мне усадьбу!

Слушая истеричную барыню, я невольно вспомнил ее усадьбу. Мне довелось побывать в ней еще пятилетним. Одна из моих сестер, приезжая из Петербурга на каникулы, ездила в усадьбу помещицы на заработки (работала там массажисткой) и как-то взяла меня с собой «погостить». И вот что открылось моему детскому взору.

Огромный особняк в два этажа был подобен гостинице. Разделенный надвое коридором, он имел десятки комнат для гостей. Особенно поражала столовая, рассчитанная по меньшей мере на сто персон. Был день рождения дочери помещицы, и видел я эти сто персон за длиннейшим столом, уставленном невиданными яствами.

С детской восторженностью дивился я открывшейся предо мной картиной, которая напоминала мне чудесные сказки матери.

А чего стоил необъятный фруктовый сад, казавшийся мне волшебным. В нем были и гигантские качели, и движущиеся лошадки, и песочные часы. Великолепные цветочные клумбы ласкали взор, а возле клумб — кролики, с лучистыми, янтарными глазами. Взял я одного из них — и не мог расстаться: так очарователен был этот беленький, пушистый зверок, завезенный, видимо, из заморских стран.

Помещица смилостивилась и подарила мне этого кролика. О, как велика была радость маленького детского сердца! Будет теперь чем вспомнить и этот огромный дом, и «волшебный» сад, и все то, что так поразило своим сказочным великолепием мое детское воображение...

И невдомек мне было в те бездумные годы, сколько горя и слез, кровавого пота и страданий крестьян заложено в этом «волшебном царстве».

Только выйдя из младенческого возраста, я уразумел, какова истинная цена помещичьего великолепия. Когда бывал с отцом в окружных селах, довелось соприкоснуться со страшным зрелищем «бедствий народных», о которых с болью в сердце писал Некрасов. Он сам провел детство в помещичьей усадьбе, принадлежал к «дворянскому племени». Но, познав мерзости «барства дикого», ушел в «стан погибающих за великое дело любви» и, как многие лучшие русские люди, мечтал о том времени, когда народ, сбросив с плеч ярмо рабства, «широкую ясную грудью дорогу проложит себе».

Сбылись мечты, пришло долгожданное время! А вот эта женщина, заявившаяся к нам, встретила его лишь злобной ненавистью, хотя и считалась в Мелекессе представительницей лучшей части интеллигенции, здравомыслящим, культурным человеком.

Оказывается, вся ее внешняя порядочность и культура — это лишь обманчивая оболочка «барства дикого». Она считала своей священной собственностью усадьбу, воздвигнутую потом и кровью крестьян, не знавших ничего в своей тяжкой жизни, кроме каторжного труда, ветхой избушки и куска черного хлеба. В ее глазах мужики — варвары и грабители. А они, оказывается,

только в том и «провинились», что вежливенько попросили:

— А ну-ка, барынька, подвинься маленько, уступи часть домика, нашими руками сделанного, для клуба и библиотеки, для нужд крестьянских.

Но она, видите ли, не может жить в отведенных шести комнатах (в семье ее было всего три-четыре человека). Она требует гуманности, справедливости.

Человечность, гуманность, справедливость... Каким подлым кощунством звучат слова эти и поныне в устах тех, кто в странах капитала продолжает жить за счет страданий народа, пользуясь своим «правом фамильной собственности».

Выпроваживая гостью, Евгений не читал ей лекций об истинной порядочности и человечности. Как ни старался, а не сумел он сдержать себя. Изменило присущее ему хладнокровие, и помещица услыхала от председателя Совета много «грубых», «мужицких» слов, которые еще больше взбесили ее, и она ушла, хлопнув дверью.

Мать слышала все. Для нее, бывшей крепостной женщины, было также глубоко ненавистно «помещичье отродье». Ребенком, когда еще бары торговали в России людьми, ее запродал соседу со всей семьей ихний барин и, как рассказывала она, отправил к новому владельцу в бочке вместе с породистыми щенками.

— Ишь ты, ушла как тигрица разъяренная! — недовольно сказала мать. — Ох, докажет она тебе, Енюшка, свое право, если, не приведи бог, ихнее все вернется...

К счастью, «ихнее» не вернулось. Но оно пыталось и могло бы вернуться, если бы большевики, весь трудовой народ не поднялись грудью на защиту своей кровью завоеванной Советской власти.

Вспоминаешь сейчас о тех огненных годах, — пусть

прошло уже полвека, — и сердце отзывается щемящей болью: так много цветущих жизней было отдано в борьбе за наше святое дело, так много страданий нами изведано!

Оценивая день сегодняшний, я нередко вспоминаю мелекесскую помещицу, подобную «тигрице разъяренной». Не та ли самая разъяренность побуждает всех и всяких ниспровергателей коммунизма снова хвататься за оружие, чтобы отстоять свое «право» обрекать народ на вечное рабство?

Глава пятая

ПОСЛЕДНИЙ ДУЭТ

ЧЕМ полнее вторгался Совет во все стороны купеческого жития, тем неспокойнее становилось в Мелекессе. По ночам гремели выстрелы. С дробовиками и кастетами пытались «охотиться» на красногвардейцев местные черносотенцы. Их ободряли меньшевики, пытавшиеся снова сеять отравленную клевету на Советы.

Разъяренность поверженного врага чувствовалась во всем, и требовалась особая бдительность, согласованность действий и сплоченность всех революционных сил. К сожалению, такой согласованности не всегда удавалось Совету добиться. Я имею в виду прежде всего поведение некоторых фронтовиков, объявивших себя «анархистами».

То были из мелкой буржуазии и частично из крестьян, которым пришлось досыта хлебнуть горя при старом строе. Темные, неграмотные, по-детски наивные во всем, что касалось продуманной политики, переодетые в солдатские шинели крестьяне, призывали дать волю ненавис-

ти, «душить буржуев и белоручек». В этом заключался весь смысл их философии.

Признаюсь, я не видел в их обостренной ненависти ко всему старому ничего зазорного. Анархистами их можно было назвать с большой натяжкой. Что же касается того, чтобы кого-то там «душить», то я не усматривал в этом их преднамеренной склонности к кровожадности. Их несчастье было в том, что крайне однобоко и упрощенно воспринимали они суть борьбы. Мы применяли красный террор, когда к этому нас вынуждали враги, но никогда не рассматривали насилие как единственное оружие для упрочнения Советской власти.

Мелекесские «анархисты» этого не понимали и придерживались своей особой линии. Вначале они даже отказались вступить в созданный Советом отряд Красной Гвардии.

А тем временем с юга надвигалась гроза—к Мелекессу подступали казачьи части атамана Дутова, сподвижника разгромленного генерала Корнилова.

Дом наш превратился в склад оружия, доставляемого В. В. Куйбышевым (он сам побывал в Мелекессе, выступал перед большевиками в здании женской гимназии, бывал и у нас).

Когда уехал Куйбышев, брат рассказал мне, как тревожно стало в Поволжье и как много надо сделать, чтобы укрепить Красногвардейский отряд.

Наши отношения с Евгением нельзя было измерить только родственными чувствами. Конечно, духовные связи всегда выше. Однако только теоретически можно рассуждать, что чувство родства не сказывается, когда дело идет о чем-то более значительном. Поэтому Евгению стоило больших усилий сказать:

— Придется тебе распрощаться с гимназией. Поучись,

как следует владеть винтовкой. Скоро она нам потребуется.

Я давно уже овладел винтовкой, давно «приписал» себя к отряду, и разговор с Евгением не явился для меня откровением. Распрощаться с гимназией? Это не тревожило. Доучиваться будем позднее. Пожалуй, труднее всего было расстаться со скрипкой. Я увлекался «царицей музыки», выступал на ученических вечерах с довольно сложными вещами. Овладеть чудесным инструментом помог мне Евгений. В часы отдыха он и сам брал в руки скрипку, и мы играли дуэтом. Он знакомил меня с музыкой больших чувств —с Бетховеном, Чайковским, Бахом.

То было наше юношеское увлечение, мечта о новой жизни, когда музыка займет свое настоящее место, о



Руководитель мелекесских большевиков Я. Е. Пискалов (слева) с братьями Абловыми — Николаем и Евгением (справа).

жизни, которую надо было еще завоевать, отстоять в борьбе.

И вот пришел день, когда суждено было прозвучать нашему дуэту в последний раз. В тот вечер Евгений долго не возвращался домой. Выстрелы нарушали вечернюю тишину. Мать тревожилась: уж не случилось ли что с Енюшкой!

Но он пришел. Совет долго обсуждал положение, сложившееся в городе, и решил послать подрывников к реке Черемшану с ответственным поручением: взорвать путь возле железнодорожного моста, если появится бронепоезд белых.

Чтобы преодолеть валившую с ног усталость, Евгений предложил сыграть что-нибудь дуэтом, пока не появятся пулеметчики. С ними условился он идти туда, к Черемшану. Но не успели отзвучать последние аккорды полонеза Огинского, как в комнату ворвался связной Совета, расстроенный и возбужденный.

— Играете, чертовы дети,—кричал он,—а того не чуете, что пулеметчики-то да минеры наткнулись на винный погреб и лежат пьяненькие-распьяненькие!..

Не вникая в подробности, в порыве негодований Евгений высоко поднял скрипку и грохнул ее об пол.

— Отыгрались!

Схватив револьвер и гранаты, он исчез вслед за связным. Обиднее всего было то, что тревога-то оказалась не совсем оправданной. Только один пулеметчик, разудалый гармонист и «анархист» Митюха, действительно напился. На него-то, распластавшегося на пороге винного погреба, и наткнулся наш связной.

А скрипка лежала искалеченной, навсегда умолкшей...

...В моей привязанности к юношеской памяти о Евге-

нии, к скрипке, на которой я играл с ним дуэтом, есть много необычной романтики давно минувших дней и отошедших в прошлое переживаний. Однако я все же не расставался со своей скрипкой даже на дорогах войны с фашистской Германией. Она звучала на привалах и при передышках между боями, была со мной и при берлинском рейде, когда, наконец, наше победное Красное знамя было водружено на Рейхстаге...

* * *

Приятно сознавать, что добрая память о Евгении и поныне живет в родном Мелекессе. Как-то местный автор писал о нем в журнале «Советская печать» как о талантливом журналисте, замечательном большевике, пламенном ораторе.

Прочел я это и подумал: не слишком ли высокопарно звучат эти эпитеты — талантливый, замечательный, пламенный? Мне понятно, что автор этих строк выразил в них уважение к памяти моего брата. Но мне кажется, в такой характеристике нет главной черты характера Евгения — его скромности и нетерпимости к парадности, ко всему тому, что присуще лишь дилетантам от революции.

Он был довольно образован, но всегда сознавал, как много надо еще уметь и знать, чтобы достичь на путях революционной борьбы подлинной, ленинской закалки. Мужество, глубокая убежденность и твердая вера в победу революции позволяли ему находить путь к сердцам людей, поднимать их на трудную, но благородную борьбу со старым укладом жизни, выглядевшим особенно мерзко в тогдашнем купеческом Мелекессе.

Меня поражали незаурядные и разносторонние спо-

собности брата. Помогая отцу, Евгений достиг совершенства в ремесле переплетчика, наборщика, печатника. Сам вырезал по дереву типографские шрифты. В гимназии, когда он был еще мальчуганом, его картины на холсте считались непревзойденными. Стены нашей комнаты были украшены его репродукциями с картин лучших русских художников. Самый будничный, простой труд перерастал у него в красоту.

Позже стал он и журналистом. Под его редакцией вышел в октябре 1917 года первый номер губернской большевистской газеты «Симбирская правда», а потом в Мелекессе он был редактором местной большевистской газеты. С каким благоговением относился я к газете мелекесских большевиков, с каким юношеским трепетом направил в нее свои первые статьи — «Дух мещанства» и «Мученики Парижской Коммуны». Едва ли увидели они свет: последние номера газеты, уже отпечатанные, были уничтожены белыми прямо в стенах типографии.

Глава шестая

В КОЛЬЦЕ ВРАГА

ПЕРВЫЕ встречи с вооруженным врагом, первые бои...

Что можно сказать о них? Прежде всего то, что это был порыв при помощи первой попавшейся под руку дубины остановить, сломить более искушенного в военном ремесле неприятеля. То была попытка отстоять завоевания революции почти что посредством одного энтузиазма. У Советской власти еще не было своей революционной армии, она только формировалась в виде отдельных,

наскоро сколоченных и плохо обученных рабочих отрядов.

Таким выглядел и наш мелекесский отряд Красной Гвардии, лишь формально связанный с соседями и главным штабом. Штаб этот находился в Самаре, а затем — в Симбирске.

В отряде не все было благополучно. Наши «анархисты» все же вступили в него. Как фронтовики они, не в пример рабочим-ткачам, обладали и опытом, и грозным по тому времени оружием — пятью-шестью пулеметами. Это хорошо. Но они не понимали сути революционной армии, полагая, что вместе со старой армией умерли и все ее атрибуты: воинский устав, строгая дисциплина и все прочее, без чего немыслима никакая армия. Неорганизованность и распущенность «анархистов» снижали боевые качества нашего отряда.

И все-таки красногвардейцы управились бы с белогвардейскими, тоже разрозненными подразделениями, если бы им на помощь не пришел чехословацкий корпус. Белочехи, зайдя в глубокий тыл (если можно было тогда как-то разграничить фронт и тыл), угрожали и Симбирску — родине Ильича. Наш отряд выступил на его защиту.

Оставив Мелекесс, мы заняли оборону на дальней окраине Симбирска, поджидая соседей. Соседи же не подоспели, и отряд наш оказался один на один с сильным врагом.

Расположившись за полотном железнодорожной насыпи, мы приготовились к отражению наступающего противника. Помню, по заданию командира отделения рабочего Фирсова я сел на велосипед и отправился на разведку. Отъехав два-три километра, увидел цепи белоче-

хов. Они шли уверенно, как на параде, а позади них приготовились к бою артиллерийские орудия.

Не успел я вернуться к своим, как залп орудий оглушил нас. Белочехи в простой бинокль могли видеть все наши «силы», измеряемые пятьюдесятью бойцами и несколькими пулеметами.

Мы открыли ожесточенную, но надо признать, беспорядочную стрельбу. Мои сообщения о неприятеле, разумеется, не могли поднять моральный дух красногвардейцев. К тому же рабочие-ткачи, как и я, еще никогда не слыхали орудийных залпов. Им было жутковато видеть, как вокруг рвались снаряды. Один из снарядов поджег доставивший нас поезд.

Мы продолжали отстреливаться и после того, как появился гонец из Симбирска. Не желая терять отряд (а гибель его была неминуема), штаб дал приказ отступать на Казань.

В том «оглушенном» виде, о котором Л. Толстой когда-то писал как о «состоянии, похожем на лихорадочный бред, или на состояние опьяненного человека», я не видел исчезновения основной части отряда, покинувшей позиции по приказу штаба. Я видел лишь группу товарищей, продолжавших вести бой.

Не сразу заметил я и появившегося сзади Хмельницкого (он был вроде комиссара отряда) и сопровождавшую его мелекесскую учительницу Наумову (она приняла на себя обязанности медицинской сестры). Хмельницкий отобрал у меня сумку с патронами и предложил всем следовать за ним. Идя рядом, Хмельницкий возмущенно отчитывал меня:

— Мальчишка ершистый! — негодовал он. — Тебе что, приказ не закон? Винтовкой решил одолеть артиллерию!

Увлекшись боем, мы отстали от отряда и оказались под угрозой окружения.

Вспоминая свой первый бой, я и теперь как бы заново переживаю тягостные чувства, вполне понятные каждому, кому довелось отступать, уходить перед ненавистным врагом, оставлять свое, родное, завоеванное.

В ту юношескую пору не научился я еще смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Не знал, не хотел знать, что отступление на войне не всегда расценивается как поражение, что существует тактика маневрирования, собирания сил и т. д. То была своеобразная «детская болезнь», порожденная романтикой юности, бездумным порывом горячего сердца.

Оставили Мелекесс, теперь — отступать из Симбирска... Такое не укладывалось в сознании, разгоряченном первыми успехами революции. И не передать уже сейчас, в годы трезвой рассудительности, всю силу негодования, охватившего не только меня, но и даже того пулеметчика Митюху, о котором никто ранее не мог сказать ни одного доброго слова.

«Нет, нет, нет!» — стучало сердце! — Пусть, черт возьми, они во сто крат сильнее, пусть грозят смертью,— но нельзя позволить им безнаказанно растаптывать наши лучшие чаяния и надежды!».

Только уже в поезде, охваченном пламенем и на предельной скорости мчавшем нас в город, дошли до сознания слова Хмельницкого. В самом деле, как случилось, что мы нарушили приказ? Где отряд, где Евгений? Удалось ли им прорвать кольцо врага?..

Глубокой ночью пришли в городскую комендатуру, надеясь найти там транспорт на Казань. Нам порекомендовали отправиться на пристань, чтобы подыскать какой-нибудь пароход.

Стало уже светать, когда на берегу Волги мы повстречали матроса, и он согласился взять нас на свой пароход.

— Поспешайте, братишки! — сказал матрос, наблюдая, как над пароходом кружится белогвардейский самолет. — А то трап скоро уберут!

Недолго раздумывая, мы решили «поспешать». До парохода было уже рукой подать, как случилось нечто до смешного нелепое и до боли обидное. У причала лежал кем-то брошенный в панике мешок с сахаром. Увидев его, наш матрос остановился, сделал какие-то знаки капитану и скомандовал:

— Стой, братва! Бери, наваливай!.. Чайку с сахаром попьем на пароходе.

А пока «наваливали» — пароход снялся с якоря. Попили чайку!

Сбросив со спины ношу, матрос в два прыжка подскочил к берегу и, не раздеваясь, кинулся в воду.

Я уже хотел последовать за ним, как кто-то из наших схватил меня за руку:

— Куда ты? Нешто пароход догонешь?

Он был прав. К тому же я плохо плавал.

Между тем пароход дал полный ход, уклоняясь от бомб, сбрасываемых самолетом. А матрос наш, по всей видимости и неплохой пловец, с трудом преодолевал течение. Намокшая одежда, как тяжелый камень, тянула его вниз, и он все чаще и чаще исчезал в пучине Волги.

— Вернись! — крикнули ему.

Но он уже не слышал...

И надо же было встретиться на нашем пути этому отчаянному человеку! Он погиб так бессмысленно.

В дни скитаний по белогвардейским тюрьмам я порой вспоминал матроса, которому так и не удалось, мо-

жет быть, в последний раз «попить чайку с сахаром». Нет, это не ирония. В минуты тяжелой душевной тоски, близкой к отчаянию, я не в состоянии был осуждать его поступок. Он чувствовал дыхание смерти и пошел на последний риск.

Мы же тогда оказались в западне, в незнакомом городе, где местные кабатчики и лавочники вместе с белочехами вели охоту за красными. Патрули и озверевшие мелкие буржуйчики расстреливали на улицах всякого заподозренного в принадлежности к красным.

Наши ребята решили выбираться из города незаметно мелкими группами, в два-три человека. Со мной оказался незнакомый молодой человек в форме воспитанника ремесленного училища.

— Быстрей за мной! Я немного знаю Симбирск! — торопил он меня. — Доберемся до леса, а оттуда махнем на Казань.

Моя гимназическая фуражка и его форма ремесленника не вызывали ни у кого подозрений. Никем не опознанные мы выбрались на окраину города и уже готовы были укрыться в тенистой роще, как вдруг откуда-то вывернулся мелекесский купец Спиридонов, а с ним какой-то незнакомый дюжий детина. Они бросились на меня с яростью помешенных. В отобранном у меня револьвере не оказалось ни одного патрона. Не было оружия и у них. Иначе не уйти бы мне живым.

— Солдаты, сюда! — истошно завопил купец. — Комиссара поймали. Его брат банк ограбил, деньги наши увез!..

Воспользовавшись суматохой, мой спутник исчез в подъезде ближайшего дома, а к нам подошел русский солдат. Не спеша, он обшарил мои карманы, связал мне руки и сказал:

— Иди вперед, куда укажу!

Купец не унимался:

— Куда ты его? — вопил он. — Расстреляй щенка на месте!..

Солдат ответил что-то невнятное. Я разобрал лишь его последние слова:

— ...в тюрьме разберутся!

Так я оказался в Симбирской тюрьме, откуда и начались те «хождения по мукам», которые ожидали меня в «эшелоне смерти», а затем в Александровском централе.

Впрочем, мне еще удалось увидеть Мелекесс, побывав в его каталажке. Удалось даже в последний раз встретиться с матерью.

Глава седьмая

ПРОЩАНИЕ С ПОСАДОМ

ОНО состоялось недели через две после моего ареста. И прежде чем говорить о нем, скажу о симбирской тюрьме, явившейся для меня пересыльным пунктом.

Еще в детстве я много слышал о царских каменных мешках, где заживо хоронили политических — лучших людей России. В тюремных казематах частенько сидел мой старший брат Николай. Там долго держали и брата Максимилиана, тоже причастного к борьбе против царизма. Максимилиана я почти не знал. Мне известно лишь, что он умер там, в тюрьме. Только революция помогла третьему моему брату — Евгению избежать тюремных решеток, если не считать мелекесской каталажки.

И вот как бы по родственной преемственности довелось и мне познать это чистилище, но уже при новых тюремщиках и новых порядках, куда более жестоких, чем при царе.

Когда доставили меня в тюрьму, все камеры уже были переполнены. Вступив в город, белые освободили своих, в том числе и всех уголовных преступников. На их место они вели и вели людей, заподозренных в большевизме.

В камере, куда толкнули меня после изрядных побоев, было так тесно, что я с трудом нашел свободное место, чтобы присесть. Человек пятнадцать узников встретили меня хмуро. Причиной, видимо, была моя гимназическая фуражка. Но стоило назваться, как нашлись товарищи, знавшие Евгения. Среди них оказался и красногвардеец из нашего отряда. Он видел моего брата, говорил с ним уже на пути в Казань.

— По дороге жарко было, подстрелили меня, — рассказывал красногвардеец. — Идти не мог, вот меня и схватили... А брат твой жив, здоров, только очень печалился. Думал, убили тебя.

И когда услышал я это, забыл о всех невзгодах. Ушел наш отряд, жив Евгений!

Вечером, подыскав местечко на нарах, я оказался по соседству с пожилым человеком, старым большевиком Топорковым.

— Быть бы мне на том свете, — говорил он с грустной усмешкой,—если бы попал в руки симбирских лавочников и белочешских карателей. Схватили меня русские солдаты. Эти воины сермяжные, хотя и с кулацкой ухваткой, а чувствуют себя не совсем в своей тарелке. Косо поглядывают они на чехов, впутавшихся в наши

дела. Как только привели в тюрьму, тут же, без допроса, объявили: тебя ждет одно — расстрел.

Но он был спокоен. Удручало его только то, что «так глупо попался в западню».

С каждым днем проникался я уважением к Топоркову. Его мужественная сдержанность, рассудительность передавались всем в камере. Я по-юношески откровенно рассказал ему все о себе.

— На допросе помалкивай, — советовал он мне, — а лучше придумай что-нибудь путаное...

Дня через два меня вызвали «с вещами». В камере решили: на расстрел. Но оказалось другое: сдали конвоиру и отправили в Мелекесс.

Молодой, нескладный, «сермяжный» конвоир оказался простейшим парнем. О таких говорят: рубаха-парень.

Первое впечатление не обмануло. Паренек разделил со мной хлеб и сало, а когда сели в вагон, начал успокаивать:

— Не горюй, комиссар, двум смертям не бывать...

Я решил воспользоваться беспечностью конвоира. Подъезжая к Мелекессу, я прилег. Моему примеру последовал и солдат. Видя, что он уже посапывает, я вышел на площадку, спрыгнул на ходу — вот и свобода!

Куда податься?

Вспомнил: в сарае нашего дома спрятано оружие. Созрел план: под покровом ночи добраться до сарая. А там — на кордон, к дяде Саше, знакомому леснику.

План этот был по-мальчишески опрометчивым и я снова попался в западню.

Правда, до сарая добрался, но оружия там не обнаружил. И уже решил было тотчас уйти в чащу леса, но не смог побороть желания увидеть мать. Через слуховое окно проник в дом...

Мать, конечно, не ожидала моего возвращения. В ее глазах была и радость встречи и смертельная тревога. Исхудавшая и взволнованная она торопливо рассказывала:

— Отец в Матвеевке... укрывает его знакомый чуваш. В доме все забрали: и одежду, и продукты. Откопали и оружие. Грозились убить. На базар пойдешь, в тебя— камнями. Ничего не подают. Говорят: твой муж и дети Христа продали, дьяволу служат...

Слушал я ее, а в голове сверлила одна мысль: быстрее, до рассвета, уйти. Все равно не помочь материнскому горю.

Но уйти не удалось. Домовладелец, плюгавый, древний старик, в эту ночь бродил по двору и, услыхав в доме разговор, поднял тревогу...

Одиночка, куда меня заперли, имела небольшое окошечко. Сюда, как к зверинцу, стали приходить обыватели. Появился и купец Спиридонов. Со всеми подробностями рассказывал каждому, как он схватил в Симбирске «абловского отпрыска».

— Одного поймали, не уйдет от пули и другой, — предрекал он, самодовольно потирая руки.

Но вопреки пророчеству расходившегося купца от пули я ушел. Судьбе не угодно было, чтобы я разделил смерть с Евгением. И кто знает, может быть, этому в какой-то мере посодействовали юнцы из мелекесского «Союза шестых классов».

Суд надо мной поручено было вести «тройке» из учителей гимназии во главе с латинистом — Петром Степановичем Урядинским. Это он отбирал у меня в классе револьвер. По его совету директор милостиво «разрешил» иметь в гимназии союз молодежи после того, как этот союз был уже самочинно создан нами. Помню директор сказал:

— Союз должен вести внеклассную, увеселительную работу. И чтоб никакой политики! Школа была и будет вне политики.

Такого же мнения придерживался и Урядинский — «демократ», кадет и, надо признать, отличный знаток латинского языка. За эту влюбленность в лаконичный, столь привлекательный краткостью и простотой своей латинский язык мы в какой-то мере и ценили Урядинского. Но когда он «ввязался в политику», стал ярым защитником правительства Керенского, мы возненавидили его не меньше, чем прямолинейных черносотенцев.

В руки этого-то «демократа» и попался я.

На первый допрос меня вели по Мелекессу под усиленным конвоем.

— Попался, голубчик! — с усмешкой встретил меня Урядинский. — Ну, расскажи, как ты, когда-то лучший мой ученик, превратился в разбойника?

Памятуя советы Топоркова, я стал ходить вокруг да около. О Симбирске они ничего не знали, ну а наган взял... для самообороны.

Один из «тройки» перебил меня:

— Знаем, что ложь — это оружие большевиков, так же, как насилие и убийство. Тебе не провести нас — молод еще! Расскажи лучше, как ты обвел лопоухого парня, конвоира своего.

— Вы же не даете возможности встретиться с матерью, — невозмутимо отвечал я, — вот и решил повидать ее.

— Повидал — и попался! А теперь расскажи, как на станции вы напали на наш отряд и как вместе с другими головорезами ты ходил расстреливать членов думы.

Я отрицал все.

Кто-то спросил:

— Где в последний раз видел брата?

Тут я пошел на откровенность. Не задумываясь, с мальчишеской издевкой отвечал:

— В винном погребе купца Маркова.

Это в самом деле была, пожалуй, моя последняя встреча с Евгением в Мелекессе. Погреб этот «сразил» у нас не одного пулеметчика Митюху. Он стал местом притяжения всех любителей хмельного. И перед самым отъездом в Симбирск брат привел меня в этот погреб, чтобы побыстрее уничтожить весь запас спиртного. Мы хватали бутылку за бутылкой и разбивали их о каменную стенку. После нашего визита в погребе осталось «море» вина, смешанного с грязью.

В поезде мы уже не видели подвыпивших красногвардейцев, если не считать, впрочем, ткача Лукина. Он тоже по заданию Совета уничтожал запасы местного кабака, но... «Бес-то, он силен», — оправдывался хлебнувший дарового Лукин, когда его упрекнули в «классовой невыдержанности».

Разумеется, следователям все это я рассказывал несколько иначе. Но разгромленный винный погреб был для них убедительным, «вещественным» доказательством.

Больше они ничего от меня не добились и снова отправили в каталажку. На этот раз в общую камеру, и я повстречался со многими рабочими — товарищами по отряду.

На другой день привели новенького, кажется, рабочего Лукьянова, скрывавшегося в лесу. Он тайком пробирался иногда в Мелекесс, к семье, и знал кое-какие новости. Он-то и сообщил историю с письмом, полученным Урядинским от своих учеников.

Вот как это произошло.

Латинист жил бобылем со своей мамашей, богобоязненной, сгорбленной старушкой. Вот ей-то, когда она была в церкви, и вручили письмо, в котором говорилось, что если ее возлюбленный сынок согласится на расстрел Виктора Аблова, то пусть заранее заказывает по себе панихиду, что они поступят тогда с Урядинским так же, как с горбачом — председателем думы (горбач был расстрелян за контрреволюционную деятельность). И подпись — «Ваши ученики».

Не берусь судить, насколько правдоподобна была вся эта история. Однако с расправой надо мной и другими арестованными медлили. А на последнем допросе Урядинский, отпустив своих следователей, сообщил мне:

— Отправим тебя в Самару. Там рассудят, что делась с тобой и твоими друзьями по разбою. Я же умываю руки...

Жалкая душонка буржуазного интеллигента! Тут она проявилась у латиниста во всей своей трусливой и лицемерной наготе. Он, видите ли, проявляет даже великодушие: пусть-де не он, «демократ», а они, самарские «революционеры» — эсеры и меньшевики, свершат кровавый суд свой.

Вскоре нас, человек двадцать пять, отправили на станцию и погрузили в вагон.

Прощай, посад, прощай Мелекесс!

Хотелось увидеть маму. Но кто мог предупредить ее? Да если бы и пришла проститься, ее забросали бы камнями.

Зато семь-восемь ребят из «Союза» явились на станцию проводить своего одноклассника.

Конвоиры встретили их площадной бранью, угрожая прикладами. Кто-то, кажется, Мишулин, вступил в спор с солдатами. Офицер, сопровождавший арестованных,

грубо толкнул его и предложил убраться восвояси, пока не посадили самого в вагон вместе с одноклассником. Только одной девушке, Марусе Шлыгиной, удалось прорваться к вагону и пожать мне руку.

И все-таки как приятно было видеть этих ребят, освобождающихся от страшных пут мещанства и начавших воспринимать нашу, большевистскую правду.

Глава восьмая

САМАРСКАЯ ТЮРЬМА

ГРОЗОВЫМ годом именуем мы год 1918-й.

В том году белый террор принял чудовищные размеры. Старый мир скорчило от разъяренности и, казалось, решил он учинить кровавую расправу над целым многомиллионным народом. В огненном кольце врага была тогда молодая Советская республика.

В том году от рук наемных убийц империализма погибли Урицкий, Володарский и многие-многие другие пламенные борцы нового мира.

До нас, узников самарской тюрьмы, дошла сквозь тюремные стены страшная весть: тяжело ранен Ленин. И кем! Презренным агентом партии, кощунственно именовавшей себя партией социалистов-революционеров.

Вот эти самые «революционеры» в тесном содружестве с махровыми черносотенцами и обосновались тогда в Самаре. Свое «правительство» они наименовали Комитетом учредительного собрания.

Именем этого мертворожденного детища временщи-

ки вели суд и расправу над красными, уподобляясь палачам, потопившим в крови Парижскую Коммуну.

Самым отвратительным было, пожалуй, то, что эсеры пытались маскировать свое черное дело покровом некоей законности.

Вызвав меня из камеры, следователь, глубокомысленно перелистал «дело», состряпанное в Мелекессе, и с достоинством вершителя человеческих судеб сообщил:

— За вооруженное выступление против Учредительного собрания тебя будет судить военный трибунал по статье 114-й. Мера наказания, предусмотренная этой статьей, — смертная казнь или вечная каторга.

Подобная же «статья», без разбора, была предъявлена всем: и нам, красногвардейцам, и тем, кого схватили по подозрению в соучастии с красными.

* * *

Ожидая приговора, я ближе познакомился с тюрьмой, с ее порядками и обитателями.

Сама тюрьма, по сравнению с мрачной, старинной тюрьмой Симбирска, выглядела «благоустроенно». Видимо, строили ее по заграничному образцу. Когда поздним вечером вели нас туда, мы увидели многоэтажное новое здание, ярко освещенное у входа. В коридорах — паркетные полы, центральное отопление, много света и воздуха.

Но стоило только переступить порог камеры, как впечатление стало иным. Огромные нары, сколоченные наспех из кривых неструганных досок, были еле прикрыты грязной прелой соломой. Единственная лампочка, еле мерцавшая где-то под потолком, не давала возможности даже разглядеть как следует обитателей камеры.

Узников в камере было человек сорок. Грязные, обор-

ванные, заросшие, голодные, они располагались и на нарах, и под нарами, а то и прямо на каменном полу.

Говорили шепотом. При малейшем шуме надзиратели открывали двери и били прикладами. При попытке подойти к окну, чтобы глотнуть воздуха, раздавался выстрел часового. Многие новички, не знавшие этих порядков, поплатились жизнью.

Особенно запомнился мне мужичок из одной самарской деревни. Щупленький, с заросшим испитым лицом, совершенно неграмотный, забитый, он первые дни не вступал в разговор, давая на все вопросы односложные уклончивые ответы. И только убедившись, что кругом свои, стал посмелее.

Схватили его ночью, прямо в хате. Били, чем попадя, до полусмерти. Потом препроводили в тюрьму.

Батрак, имевший лишь хатенку, похилившуюся набок да кучу детей, он вместе с другими бедняками деревни пошел в помещичью усадьбу и угнал оттуда корову «аглицкой породы».

— А теперь вот, — удручался он, — сижу тут и думаю: пропадут без меня детишки, а жену да старуху-мать замордуют.

Рассказал он и о судьбе своих сельчан, которые забирали земли помещика.

— Егора Митрича, председателя нашего, на этой самой земле закопали по грудь, а жену его тут же на глазах расстреляли...

И долго не мог я прийти в себя от этого рассказа.

Пока следователи разыгрывали судебную комедию, заключенных расстреливали. Расстреливали днем и ночью, группами и поодиночке. С «комиссарами» — работниками Советов и партийных комитетов — расправ-

лялись прямо в камерах, не выводя во двор, — и следы их крови были видны по всей тюрьме.

Между тем Красные части, оправившись от первых неудач, перешли в контрнаступление.

Нетрудно понять, с каким волнением и трепетом вслушивались мы во все нарастающий гул орудий. Шло возмездие для самих самарских правителей. Красная Армия приближалась и, судя по нервозности тюремщиков, со дня на день должна была вступить в город.

Освобождение идет, свобода близка!

Но все сложилось не так, как хотелось. Правители Самары, несмотря на паническую поспешность бегства, не могли оставить узников тюрьмы. Это была бы добрая тысяча штыков в их спину.

И когда снаряды стали рваться уже в предместьях города, длинная колонна изнуренных, едва державшихся на ногах узников двинулась от тюрьмы к вокзалу. Конные казаки с шашками наголо сопровождали арестованных, тут же зарубая тех, кто был не в состоянии идти и падал от изнеможения.

Десятки товарных вагонов до отказа набили узниками по 60—70 человек в каждый, заколотили люки и двери, на тормозных площадках поставили пулеметы.

Так была создана тюрьма на колесах, получившая позднее свое настоящее имя — «эшелон смерти».

Возможно, «спасители России», покидая Самару, рассчитывали поместить нас в одной из сибирских тюрем. Однако положение сложилось так, что их правая рука не могла знать сегодня, что завтра будет делать левая: Красная Армия шла по пятам. Правитель же омский — адмирал Колчак сам не знал, куда девать своих собственных «красных». Тюрем не хватало.

Глава девятая

В «ЭШЕЛОНЕ СМЕРТИ»

ПЕРВАЯ ночь... Темный наглухо закупоренный вагон. И у каждого, кто оказался в нем, непреодолимое желание лечь, забыться после шествия по улицам Самары под казацкими шашками.

Напрасное намерение! Не только лечь, но и присесть не удается. И люди стоят, прижавшись друг к другу, давя друг друга.

Сколько нас, что ждет впереди?

Увозят, как скот, как живой груз. А там, в городе, уже наши, там — конец белогвардейскому кошмару...

На рассвете кто-то подсчитал: нас шестьдесят пять. Условились отдыхать поочередно, сидя в ногах соседа.

К вечеру стало невмоготу. Стены вагона задрожали от ударов наших кулаков:

— Воды и хлеба!

Ответ последовал тотчас же: конвоиры открыли стрельбу по вагону. К счастью, пули прошли поверх голов.

Только где-то за Уралом эшелон остановился. Открыли двери. Увели шесть-семь человек. Куда? Может быть, на смерть, как возмездие за бунт. Стало, однако, просторнее. Дали воды по глотку на человека.

Кто был в вагоне?

Наших мелекесских было немного. Помню ткачей Лукина, Андреева, старика Топталина с двумя сыновьями. Остальные — из разных мест, разные по возрасту и взглядам люди.

Особо памятен седовласый старообрядец с бородой патриарха. Его взяли «за поругание веры христо-

вой». Были в вагоне несколько рабочих Самары, латышский стрелок, выдавший себя за немца из Поволжья, красногвардейцы с предприятий Урала, Уфы, даже из Томска. Их везли по родным местам. И так хотелось им еще раз увидеть свой дом.

В Уфе двое из них вызвались пойти с конвоиром на станцию принести воды. Долго пришлось их ждать, но они так и не вернулись. Возможно, им удалось бежать. Эшелон задержали. А спустя несколько часов — поверка. Счет по головам. И грозное предупреждение: за одного бежавшего будет расстрелян каждый третий.

Воды не давали двое суток. Тоже возмездие!

Латышский стрелок, не выдержав пытки, отбил ночью люк и пытался выброситься из вагона на ходу поезда. Не удалось! Старообрядец, сидевший рядом, схватил латыша и с силой помешенного держал до тех пор, пока тот не дал слово сидеть смирно, не подводить вагон.

Утром — обсуждение: прав ли старик?

Долго шумели, пересыпая речь отборной руганью по адресу старика. Мнение большинства — одно: старик — сволочь. Не посмеют расстреливать, запугивают...

Но они посмели. Пулеметная очередь вскоре раздалась неподалеку. Остановив поезд в глухой тайге, конвоиры расстреливали товарищей из соседнего вагона.

Старик поучал:

— Вот вам, ушел, может быть, один, а погибают многие...

И все-таки решение назревало: бежать всем! Кто-то раздобыл болт, острый, как нож. Продолбить пол — и уходить! Но подозрительные ночные звуки привлекли внимание конвоира. Явившийся дежурный офицер обнаружил в полу вагона дыру.

— Что делаете, мерзавцы! — заорал он, угрожая револьвером.

Кто-то сказал:

— Уборной-то нет, вашескородие. Вот мы и решили пользоваться этой дыркой.

Находчивость спасла. Болт нашли и отобрали. Но дыра осталась. Начало положено! Однако конвоиры получили особый приказ: следить, чтобы полы и стены не портили!..

Пытка голодом становилась невыносимой. Расчет конвоя был прост: довести заключенных до состояния, при котором станут невозможны попытки к бегству. Лишь через три-четыре дня начали выдавать понемногу мерзлого гнилого хлеба.

Голод, наступившие холода, болезни отнимали последние силы. Многие из нас не могли уже подняться. Первой жертвой стал пожилой мелекесский ткач Андреев.

В нашем отряде он как будто не числился. Его арестовали только за то, что сказал фабриканту грубое слово. Статью же определили Андрееву, как и политическим: вечная каторга.

И я думал: что нового для него в этом приговоре? Такой приговор, если не более жестокий, был по сути дела уже давно вынесен ему. Разве не вечной каторгой была вся его жизнь и жизнь его семьи? Разве не каторжным являлся труд наших ткачей на мелекесской фабрике?

Андреев десятилетним пареньком пошел в услужение к фабриканту. Из мальчика на побегушках он вырос позже в ткача первого разряда. Заработок же оставался нищенским. «Только по большим престольным праздникам

удавалось поесть щей с говядиной», — с горькой иронией говорил Андреев.

Как и все его товарищи, он ютился в жалкой лачужке, а детей своих, чуть только подрастали, посылал не в школу, а туда же — на постылую фабричную каторгу.

К 30—40 годам многие ткачи уже жаловались на грудь. Чахотка становилась профессиональной болезнью. Не минула эта участь и Андреева. Стал кашлять кровью...

Мне не часто случалось бывать в цехах мелекесской ткацкой фабрики. Но, бывая там, я видел ад кромешный. Человек с «воли» задыхался от смрада и пыли и не мог пробыть там и двух часов. А ткачи работали в этом аду по 11—12 часов в сутки!

Когда Андреев обратился к врачу, тот сказал:

— Плохи твои дела, ткач. Надо распрощаться с фабрикой, переменить работу, быть побольше на воздухе, получше питаться.

Легко сказать — оставить фабрику! А куда пойдешь? В чернорабочие? Это значило обречь семью на еще более тяжелые испытания, стать нищим, которых и без него было слишком много в посаде.

И он продолжал тянуть свой непосильный воз, а сам таял с каждым днем на глазах товарищей, которые не могли ничем помочь ему. Их так же, как и его, фабрикант пожизненно обрек на вечную каторгу, и выход из нее один: преждевременная смерть...

Умер Андреев ночью, не успев сказать нам своего последнего слова. Конвоиры с хладнокровием палачей сбросили его труп на растерзание хищникам где-то недалеко от станции Тайга.

Безгранична была наша скорбь, напоенная ненавистью к палачам. Особенно тяжело переживали смерть

Андреева его близкие товарищи-ткачи, познавшие, как и умерший, все ужасы капиталистической каторги.

* * *

Наступила суровая зима, а эшелон все продолжал свой путь, оставляя в глубоких снегах многочисленные трупы людей.

Комендант эшелона, — чех по национальности и кровавый палач по своему классовому амплуа,—стал, по всей видимости, тяготиться своей миссией, стремясь сдать кому-нибудь и как-нибудь свой полуживой груз.

Разговор на эту тему с колчаковцами вызывал лишь злобную усмешку:

— Умирают красные? Значит, быстрее освободитесь от них!

Да и кому из этих кровавых управителей Сибири захотелось бы возиться с раздетыми, умирающими от голода и холода людьми! Они, эти представители старой России, полагали, что чем больше крови народной прольют они, тем скорее вернется их прежнее безмятежное житие.

И если бы в ту пору колчаковским правителям была известна техника «обезлюживания» Гитлера, они, не задумываясь, применили бы ее. Еще неведома была им и практика современных искоренителей коммунизма. Эти искоренители, как известно, своих пленных укладывают шпалерами на земле и расстреливают сотнями.

Однако сатрапы Колчака и без огненных печей находили надежный способ умертвления своих узников, обрекая их на «естественную», голодную смерть...

Наконец в Чите, по дошедшим до нас слухам, атаман Семенов дал коменданту эшелона «добрый» совет: пре-

проводить заключенных на Сахалин, на вечную каторгу, как и предопределил эсеровский суд.

И быть бы нам на этом острове, столь известном по запискам Чехова, если бы... не американцы.

Встреча с ними незабываема. Она была для нас столь поучительной, что о ней следует рассказать в особой главе.

Глава десятая

ГУМАНИЗМ ПО-АМЕРИКАНСКИ

СИБИРЬ повидала в те годы многочисленных интервентов. Кого только здесь не было?

Сквозь щели вагонов, где-то уже за Читой рассмотрели мы даже батальон итальянцев.

Но не итальянцы и не им подобные батальоны имели значение для адмирала Колчака. И даже не дивизии японцев, по-хозяйски расположившиеся на Дальнем Востоке.

Армия адмирала жила, одевалась, обувалась, вооружалась при содействии в основном английского и более всего американского правительства. Прежде всего американцы стремились стать хозяевами неисчерпаемых богатств Сибири. Янки выступали здесь дирижерами. Их требования и указания выполнялись колчаковцами с лакейским подобострастием.

Встреча наша с американскими «дирижерами» состоялась у самого Тихого океана, в преддверии к Сахалину.

В Никольске-Уссурийском возле эшелона появилась группа чопорных, выхоленных джентльменов с фотоап-

паратами, с сигарами во рту, с сумками через плечо. То были, как стало известно после, представители американского Красного Креста.

Долг Красного Креста, как известно,—быть поборником человеколюбия, гуманизма, о котором, кстати сказать, не прочь порассуждать и хозяева американского Белого дома. Но ныне, конечно, их рассуждения никого не могут ввести в заблуждение. Война во Вьетнаме — наглядное воплощение «гуманизма» дяди Сэма.

Тогда же кое-кто из нас, в простоте душевной, мог еще подумать, что перед нами в самом деле Красный Крест в общечеловеческом понимании. И лишь, попав в руки заморских врачевателей, мы на собственной шкуре испытали истинную цену гуманизма по-американски.

Красный Крест начал с того, что предложил дать арестованным прогулку. Ее дали. И вот как она выглядела.

В один из морозных дней настежь распахнулись двери вагонов. Послышалась необычная команда.

— Выходи на прогулку!

Ничего не ведавшие, мы насторожились: в распахнутые двери были видны пулеметы, выстроенные полукругом и нацеленные на нас. Не очередной ли это массовый расстрел?

Команду повторили еще и еще раз. Но никто не выходил. Точнее, не мог выходить: не подчинялись одеревеневшие от холода ноги. Тогда конвоиры, орудуя прикладами, стали выталкивать нас из вагонов в снег.

В соседнем вагоне, где особенно много было раненых и тяжело больных, раздались протяжные стоны, послышались проклятия...

«Прогулка» началась!

Лежа на снегу и немного придя в себя, мы осмотрелись. Кроме пулеметов, узрели и «врачевателей», стояв-

ших неподалеку со своими неизменными сигарами в зубах. На нас смотрели остекленевшие, полные тупого, животного равнодушия глаза. И если в них и можно было что-то прочесть, то только откровенное и наглое злорадство.

Нет, не для врачевания, а для насилия и грабежа ступили они и их коллеги на русскую землю. Инстинкты хищников пересиливали и убивали в них все то, что имеет какое-то отношение к чувствам человечности, к гуманизму. Ни стоны больных, ни кровоточащие раны — ничто не трогало их души, души интервентов с повязками Красного Креста.

Они, эти посланцы «свободной Америки», с безмятежностью животных стояли и смотрели, как из вагонов, загаженных нечистотами, вываливались на снег изможденные, босые, зачерепеневшие от вшей и чесотки русские люди...

Нас фотографировали. В разных видах и положениях. Появились ли снимки в их «свободной» прессе—сие неизвестно. Потом с помощью пинков и прикладов нас водили в баню, оставив лишь тех, кто потерял всякую способность к передвижению. Водили босых, по снегу.

После «санобработки», нас обрядили в заграничные фланелевые рубашечки и снова перепроводили в вагоны. Опять же босых, по снегу. А там, в вагоне, рядом с нечистотами увидели мы караваи американского белого, как снег, пшеничного хлеба, из-за которого произошла свалка голодных людей.

Словом, мы были облагодетельствованны в полную меру. Будет теперь чем отчитаться Красному Кресту перед американской общественностью!

После встречи с американцами эшелон двинулся в обратный путь, снова в глубь Сибири, в морозную мглу

тайги. К голоду и холоду прибавились новые страдания — стали свирепствовать дизентерия, тиф и другие болезни.

Пятидесятиградусные морозы довершали дело. Самые стойкие валились с ног, и не было дня, чтобы смерть проходила мимо.

Иных же, кто еще не совсем ослаб и пытался вырваться из ада, настигала пулеметная очередь, и они также находили свою снежную могилу где-нибудь возле станции Зима или на опушке дремучей тайги.

Мы считали, что эшелон направили обратно в Сибирь американцы и потому кляли их на чем свет стоит. Ведь новые наши мучения были страшным следствием гуманизма по-американски. Все благодеяния их Красного Креста встают и поныне перед мысленным взором, когда слышишь медовые и нагло лицемерные речи людей из-за океана, людей, за душой которых так мало остается даже элементарных человеческих чувств, не говоря уже об истинном гуманизме.

Правящие круги империалистических держав, отстаивая «право» диктовать свою волю всем свободолюбивым народам, полностью утрачивают чувство гуманизма. Подлинными провозвестниками человечности, гуманности были и остаются те, кто несет знамя новой жизни, знамя коммунизма.

...Вьетнамская девушка, перевязывающая раны американскому летчику, только что бомбившему ее деревню,—видели ли вы этот столь выразительный снимок в «Правде»?

Сколько выдержки и власти над собой, какую большую душу надо иметь, чтобы не плюнуть в лицо подлому врагу, не растерзать сбитого стервятника! Но она, эта девушка,—представитель Красного Креста социалистиче-

ской страны, и она не должна руководствоваться чувством мести.

Им, нашим врагам, ослепленным звериной ненавистью к коммунизму, недоступно подобное понимание гуманизма.

Глава одиннадцатая

«ГОТОВЬТЕ ПЕРЕДАЧУ»

Кто дал нашей тюрьме на колесах столь выразительное название — «эшелон смерти»?

Пошло оно от железнодорожников. Сообщая соседней станции об отправлении необычного товарного состава, телеграфист, приняв необходимые меры предосторожности, выстукивал: «Встречайте «эшелон смерти» — готовьте передачу».

Готовьте передачу... Как много звучало в этих кратких словах! То было выражение нашей нерасторжимой связи с теми, кто там, на воле, также испытывал тяжкий гнет палачей.

На всем своем страшном пути мы постоянно ощущали руку друзей — рабочих-железнодорожников и жителей пристанционных поселков и деревень. Их забота и сочувствие поддерживали наши силы не меньше, чем сами передачи. Незримо ощущая руку друзей, мы крепли духом, зная, что победа близка. Стремясь облегчить нашу участь, люди как бы говорили нам: нет, не покорил Колчак Сибирь, лишь террором, плетями и виселицами держится его продажная власть.

Лицемерам из числа бежавших в Сибирь эсеров и

меньшевиков, видимо, удалось убедить Колчака «соблюдать хоть какую-нибудь демократию». И он милостиво разрешил рабочим создать профсоюзы... под зорким оком жандармов.

Вот эти-то профсоюзы, существовавшие на всех станциях, неослабно следили за эшелоном и, насколько удавалось, старались помочь нам.

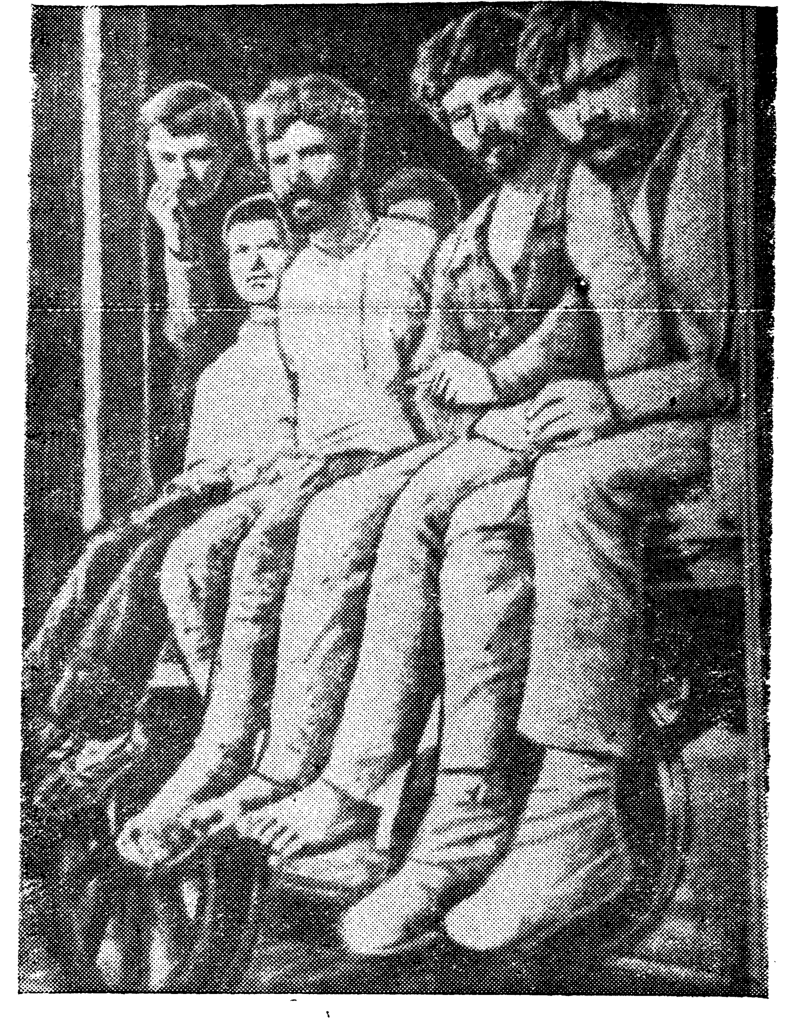
По настоянию железнодорожников, в вагонах эшелона устроили нары, а с наступлением холодов установили печурки, стали давать уголь для отопления. Рабочие пытались и подкормить нас, сообщая по линии, как условный сигнал: «Готовьте передачу!»

Начиная от Томска, каждый раз заблаговременно выходили встречать эшелон вереницы женщин. Они выстраивались цепочкой вдоль эшелона, стремясь передать нам хлеб, картофель, традиционные сибирские «шаньги». Но не всегда им это удавалось. На станциях конвоиры тоже выстраивались цепью с обеих сторон эшелона. Их оружие в этом случае было нацелено на женщин, которых не велено было и «на версту подпускать к вагонам».

Однако вскоре женщины узнали цену воинственности наших конвоиров-«инородцев». Стоило только появиться бутылке самогона, как они становились сговорчивее и уже реже было слышно их грозное: «Закруй окна!» (в обычной обстановке этот крик сопровождался выстрелами в окна).

И хотя львиная доля съестного, что удавалось женщинам передать для заключенных, исчезала в объемистых сумках конвоиров, все же нас подкармливали. А как-то раз вместе с передачей мы получили даже небольшую записочку.

Произошло это на станции Чита, на обратном пути, после встречи с американцами. Случилось это уже при



Узники «эшелона смерти»

японцах (как видите, столкнулись мы и с этой категорией интервентов). Сыны страны восходящего солнца пожаловали в Читу по зову того самого атамана Семенова, который в свое время прочил нам Сахалин.

Рассказывали, что атамана весьма озадачило возвращение эшелона. Он был разгневан, и гнев свой выразил неожиданным образом: отстранил наших конвоиров, заменив их японскими часовыми. Сменяя караул, атаман, якобы выразился так:

— Чехам и инородцам не доверяю. Японцы надежнее!

Но, как ни странно, при японцах мы почувствовали себя свободнее. Многие японские часовые оказались более снисходительными, чем наши «инородцы», угощали нас сигаретами, почти беспрепятственно допускали передачи.

Вот в это самое время и появились возле нашего вагона две миловидные девушки с объемистым мешочком. Японец, добродушно улыбаясь, препроводил передачу нам.

Разделив съестное, мы, к изумлению нашему, обнаружили на дне мешочка записочку. В ней было всего несколько скупых, написанных почти детским почерком слов:

«Нам жаль вас, страдальцы,
но идея в мире живет...»

Не забыть никогда этих слов, полных глубокого сочувствия и ободряющей поддержки! Они точно говорили нам: «Мужайтесь! Красная Армия, армия Великой революции, живет и побеждает!».

Эти слова так были нужны нам! Они стали духовной поддержкой в нашей борьбе с чувством обреченности и

тупой безнадежности, которое было не менее опасно, чем болезни и изнурительные муки голода.

Где вы теперь, милые и смелые читинские девушки? Как знать, может, они и дожили до наших дней. Живы ли и все те, кто, как мог, помогал тогда больным, умирающим в страшном застенке, но не покоренным борцам революции. Может быть, еще и дойдут до них слова благодарности, слова нашей признательности.

Без их помощи и поддержки не писать бы мне этих строк, все узники эшелона нашли бы свою снежную могилу на сибирской земле.

Глава двенадцатая

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ

„КАК поразительно устроен человек, если он переносит самое невыносимое!»

Эти слова Юлиуса Фучика из его репортажа «С петлей на шее» невольно возникают в памяти, когда я приступаю к рассказу о последних днях «эшелона смерти».

Казалось, что нельзя и представить себе ничего более невыносимого, более тяжкого, чем все пережитое и выстраданное нами на мучительном пути по заснеженным дорогам Сибири.

Мы были обречены на медленную, страшную смерть. Уничтожить нас без проволочек, убить сразу — выглядело бы куда более человечным.

Но, как ни странно, самое невыносимое пришло в дни расставания с эшелоном. Оказалось, что палачи да-

леко не исчерпали весь арсенал своей звериной «человечности».

Стоял декабрь. Лютые морозы леденили кровь. Угасали последние силы, последние надежды. В вагоне установили очередность: окончательно окоченевшие, получали право побыть возле горячей печурки — отогреть душу.

Те, кто еще не совсем утерял способность к передвижению, поддерживали огонь в железной времянке и помогали больным и вконец ослабевшим перебраться к теплу.

Ходячих, однако, оставалось меньше и меньше, и мрачные ночные кошмары стали все чаще посещать узников: может статься, что скоро, очень скоро некому будет и поддерживать «огонек жизни» — подбросить угля в печурку. И тогда, в какое-то сумрачное морозное утро, конвоиры, заглянув в вагон, обнаружат в нем окоченевшие останки людей, не выдержавших последнего круга белогвардейского ада.

И вдруг необычная, волнующая весть: эшелон завершает свой путь! Нас высадят в Иркутске и отправят в Александровский централ!

Из песен колодников, из книг и рассказов мы знали, что Александровский централ — это страшилище, одно упоминание о котором заставляло содрогаться самых закоренелых, видавших виды каторжан. Централ этот считался еще более мрачным застенком, чем Петропавловская крепость.

Для нас же весть о нем представлялась благою вестью. Она зажигала какой-то луч надежды на спасение даже у тех, кто уже стоял на краю могилы.

Но тут же охватывала тревога: как нас отправят, в чем повезут? Ведь мы босы и голы.

— Не беспокойтесь,—сказал офицер,—дадим полушубки, отправим на подводах.

Но, как и следовало ожидать, иронией палача оказались эти обещания. Полностью оправдались наши опасения и тревоги. Выданные полушубки были так малы и так истрепаны, что ими нельзя было укрыть и согреть даже душу. И вот в этой одежде, без шапок и обуви, предстояло проделать путь, измеряемый семьюдесятью километрами и пятидесятиградусным морозом.

От такой перспективы пришел в состояние ожесточенности даже старовер, еще так недавно призывавший нас к христианскому смирению.

— О, звери вы, звери во образе человеческом! Гореть вам всем в геенне огненной! — причитал он, когда конвоиры обрядили его в дальнюю дорогу.

— Нет, старикан, бери повыше! — ответил в тон ему кто-то из наших.— Тут уж беляки выступают во образе самого дьявола, и для нашего брата они уготовили другую геенну — замораживающую.

В самом деле, «забота» о нас на земле иркутской выглядела куда более жестоко, чем столь памятная «забота» американцев на земле дальневосточной.

День расставания с эшелоном настал. Подали подводы. Извлекли из вагонов полуживых, полураздетых людей и уложили «навалом» в сани — по восемь-девять человек. Окружили усиленным конвоем, специально вызванным из Иркутска.

И вот раздалась прощальная команда коменданта эшелона:

— Ехать шагом, не отрываться от конвоя!..

Палач до конца остался верен себе. Опасался он не того, что в централ могут быть доставлены окоченевшие трупы. Иной строй мыслей занимал его: а вдруг (чем

черт не шутит!) кто-нибудь из умирающих красных возьмет да и кинется босиком в дебри заснеженной тайги.

Властям же иркутским была еще более безразлична наша участь. Правда, они милостиво разрешили коменданту сдать узников на попечение тюремщиков централа. Однако шли на такую меру отнюдь не из соображений гуманности. Их тревожило другое. Эшелон смертников стал наглядным подтверждением того, что власть белых ничего не сулит народу, кроме плетей, тюрем и виселиц. Появляясь возле городов и сел Сибири, он становился своеобразной «красной пропагандой».

Наши муки, наши страдания еще сильнее зажигали сердца сибиряков ненавистью к палачам. Поняли, наконец, это колчаковцы. Поняли — и решили убрать нас с глаз людских.

О том, как проходил переезд, ничего не могу сказать. Меня положили на самое дно объемистых крестьянских розвальней, так что очутился я под грудой тел, тяжело навалившихся на меня.

Помню лишь, что рядом лежал ткач Лукин. Дрожа всем телом и безуспешно пытаясь укрыть куцым полушубком голову и ноги, он шептал:

—Держись, Витюшка! Мотри, и выдюжим мы с тобой... Тепло-то все тут. А вот те, кто сверху, вдосталь хватят, бедняги, морозцу...

Помнится еще (как в дурном сне) омерзительная дробь пулеметных очередей и ружейных залпов. То конвоиры, чтобы не застыло оружие, упражнялись в стрельбе. И тайга глухо отвечала на выстрелы протяжным, зловещим эхом...

Мы действительно выдюжили. Те же, кто оказался сверху, замерзли.

Централ был переполнен. За каменные стены его мы не попали. Пристанищем нашим стали бараки, построенные на века из бревен в полтора-два обхвата.

Здесь, в этих пересыльных бараках, когда-то побывал Феликс Дзержинский. Как гласит народное предание, он поднял тогда бунт и водрузил на воротах Красное знамя — знамя грядущей революционной бури.

* * *

Жутким видением встает в памяти та декабрьская ночь, когда водворили нас в барак.

Тех, кто «отдал богу душу», конвоиры счетом сдали где-то возле морга, а остальных, в ком еще теплилась жизнь, перетаскивали с подвод в бараки. Сами заключенные передвигаться не могли: были все обморожены и находились в невменяемом состоянии.

В кромешной тьме бараков стоял душераздирающий стон, который перемеживался с истерическим смехом и воплями людей, сошедших с ума. Они неожиданно обрели нечеловеческую подвижность и всю долгую зимнюю ночь метались и скакали по нарам и бараку, словно стремились уйти от преследующих их призраков.

Только к утру иссякла их нервная возбужденность, и они затихли. Этим страдальцам и мученикам не удалось побороть Александровский централ...

В полдень появились новые хозяева — смотрители тюрьмы. Оставаясь в этой своей должности с царских времен, они сразу же попытались соблюдать веками установленный тюремный режим.

Решили начать с поверки. Однако десятка полтора бездыханных трупов смутили их. Поверка не состоялась. Установили лишь количество душ, лежавших пластом на нарах. Их, без покойников, оказалось около полутораста.

Фамилий, имен наших — не требовалось. Списков тоже не вели ни в эшелоне, ни в централе. Не существовало и тех традиционных номеров, которые присваивались каторжникам в царские времена. Для белых достаточно было одного слова: «красный».

И все-таки по справедливости надо сказать: в бараке почувствовали мы какой-то просвет. Чего стоило одно сознание свободы от «эшелона смерти», от пьяных окриков конвоиров.

Теперь можно было пройтись по широкому длинному коридору, разделявшему два ряда нар. После утренней поверки появлялась и кружка кипятка с куском тюремного хлеба. А ведь еще недавно мы по два-три дня подряд не видали и глотка воды, были лишены самого элементарного, без чего потухает жизнь.

Но и этот проблеск жизни скоро заволокло новым, тифозным, кошмаром.

Тиф. Сыпной, брюшной, возвратный!.. Теперь эти жуткие слова забываются, уходят в историю. А тогда среди нас не было, пожалуй, человека, не испытавшего мук тифозного горячечного бреда.

Страшная болезнь свалила всех обитателей барака. Смерть становилась чем-то обыденным, неотступным и — страшно сказать — привычным. Мы стали свыкаться с ней еще в вагонах. Теперь она снова свершала свое пиршество.

Тиф не щадил и надзирателей. Если появлялся новый поверяющий, — это значило, что его предшественник не уберегся от тифозной вши и ушел к праотцам.

Тот, кто прошел тифозный круг, терял всякий человеческий облик. Короста покрывала лицо, руки, тело. Баня не помогала. В тюремных халатах гнездились миллиарды насекомых...

Но солнце все-таки проглянуло и для нас! Появились врачи, оказавшиеся среди узников эшелона. Тиф отступал. От огромных круглых печек исходило живительное тепло.

Когда пришла весна 1919 года, мы уже аккуратно выстраивались на поверку, хотя болезни и давали еще себя знать. И снова мысли об освобождении, о продолжении борьбы стали главным у каждого, кто мог уже стоять на своих ногах.

Глава тринадцатая

ОСВОБОЖДЕНИЕ

СХЛЫНУЛА тифозная горячка. Пришла пора сближений, знакомств, встреч.

В нашем бараке собрались обитатели по меньшей мере четырех вагонов. Тут были представители многих национальностей, бывшие бойцы интернационального отряда. Большинство же составляли наши земляки-волжане.

Стали обнаруживаться партийные работники. Наметились и вожаки. И началось большое, мучительное раздумье: где выход? Что будет дальше?

Моими симпатиями пользовался бывший работник Сызранского партийного комитета Ткачев — начитанный, трезво мыслящий и беспокойный человек. Он томился от бездействия, искал единомышленников, постепенно привлекал к себе коммунистов, оказавшихся в бараке.

Ко мне Ткачев относился как к младшему, хотя по годам был немногим старше меня.

— Ты плоховато знаешь жизнь, — говорил он мне,— больше всего по книгам. А книги — это только отражение жизни.

И он не уставал напоминать мне о том, что классовый враг, которому мы объявили войну, беспощаден в своей безмерной ярости. Он решил любой ценой вернуть потерянное. Мы у него в лапах. И было бы детской наивностью играть в революционность, выказывать свои взгляды перед тюремщиками.

— Мы наплюем им в лицо, когда станет ясно, что нет уже никаких путей вырваться из западни, — говорил он. — А пока не будем открывать карты, еще не все потеряно. Подождем подходящего момента...

И я уже стал было воспринимать эту науку трезвого, сдержанного выжидания, как неожиданно одна курьезная история вывела меня из равновесия.

По случаю пасхального праздника в бараке вместе с тюремной администрацией появился поп в полном своем облачении. Нас построили, а священнослужитель шел по рядам и подносил каждому крест для целования.

Заключенные, в том числе и коммунисты, как сговорившись, все «подходили к кресту». Это делалось из того самого соображения, которое Ткачев называл «не открывать карты». Но я тогда этого не понимал. Лишь только выросла передо мной фигура в поповской рясе, как мальчишеская горячность взяла надо мной верх: оттолкнув крест, я сказал что-то резкое насчет Христа и его воскресения.

Изумленный поп зло взглянул на меня, а потом посмотрел на начальника тюрьмы, как бы призывая его в свидетели. Тот приказал мне замолчать и что-то буркнул насчет евреев, продавших Христа...

На этом, к счастью, и был исчерпан инцидент с по-

пом. Однако на следующий день подошел ко мне Ткачев и стал читать назидательную лекцию.

— Твой поступок — это никому не нужное и вредное для общего дела донкихотство! — сказал он в заключение.

Что мог ответить я? В самом деле, не надо было портить «общую обедню». К чему доказывать попу, что его Христос не только не воскрес, но и не существовал вовсе.

И еще не раз в те времена моя юношеская невыдержанность давала себя знать. Она снова проявилась, когда мне стало ясно, что разумел Ткачев под «общим делом». Это было после посещения барака представителями «доблестной белой армии».

Однажды после обеда (кормить нас почему-то стали лучше) в бараке появилось несколько белых офицеров во главе с начальником тюрьмы. Этот маститый слуга царя и отечества обратился к нам с речью. Он говорил о «поруганной и проданной большевиками родине», о бескорыстной помощи союзников и многом другом.

В заключение оратор обратился к нам с призывом «искупить свою вину» и... вступить в ряды «народного» (то есть колчаковского) ополчения.

Это было так неожиданно, что я довольно громко рассмеялся. Но тут вдруг из задних рядов раздался голос:

— Согласны, господин начальник!

Когда офицеры и начальник тюрьмы ушли, началась дискуссия. Кончилась она тем, что коммунисты (их насчитывалось человек двенадцать) подошли к Ткачеву. То было по сути дела партсобрание, на котором присутствовал и я.

В осторожной форме Ткачев нарисовал наше положение. Он полагал, что другого выхода, как пойти в это са-

мое ополчение, не предвидится: если и будет подходить Красная Армия, — нас уничтожат. А если дадут оружие, то тут и наступит момент включиться в «общее дело».

После тяжелых раздумий почти все пришли к тому же решению. Мне тоже показались доводы Ткачева убедительными: справиться с группой белых офицеров — не составит большого труда. А там — тайга, партизанская армия! Слухи о ней доходили и до нас сквозь тройные тюремные решетки.

Но другой голос, голос юношеской бескомпромиссности, возражал: надеть белогвардейский мундир, стать хотя бы на один день солдатом колчаковской армии! Да это значило бы пасть так низко, что ничего более гнусного и не придумаешь!

Конец моим раздумьям положило очередное посещение начальства. На этот раз проводилась перепись будущих «ополченцев».

Вместе с начальником тюрьмы был и врач. Он на глазок определял годность каждого из нас. Взглянув на меня, покрытого чесоточными коростами, врач заключил:

— Из этого толку не будет... ни в отряде, ни на работе.

Начальник согласился.

Забраковали всех больных и истощенных, в том числе и многих мелекесских ткачей, выглядевших живыми трупами.

Через неделю «ополченцы» покинули барак, простившись с нами, как с обреченными.

Удался ли хитроумный план Ткачева? Получили ли ушедшие желанное оружие или их заставили рыть окопы?

Позднее, однако, до нас дошел слух, что Ткачев еще

задолго до прихода Красной Армии был председателем Иркутского уездного комитета партии. Но встретиться с ним в ту партизанскую пору не пришлось. А так хотелось видеть его, одного из моих тюремных товарищей, сумевшего в сложнейшей обстановке воспользоваться близорукостью врага и нанести ему удар в спину.

* * *

Опустел наш барак. Даже надзиратели реже стали наведываться к нам.

Сосед мой, старик Топталин, совсем пал духом, глядя на своих исхудавших сыновей. Вместе с ними, он тянул лямку на мелекесской фабрике, вместе с ними взялся и за оружие.

В порыве отчаяния старый ткач с тоскою говорил:

— Умирать нам тут, до конца съедят беляки.

Но смерть и на этот раз смилостивилась...

С воли шли добрые вести. Поступали они от тех самых надзирателей, которые недавно отвечали на все наши вопросы грубостью или молчанием. Чувствовали, видимо, что идет возмездие за их собачью службу.

Как-то раз один из них, сообщив последние вести с фронта, между прочим сказал:

— Начальству нашему предложено побыстрее очистить бараки. Новых арестованных уйма, а девать их некуда.

Нас стал часто вызывать следователь. Он мало что знал, кто мы и в чем повинны. Допросы кончились тем, что нам объявили: «Отправляем вас в село Усолье на вечное поселение. Докажите, что вы действительно ни в чем не повинны, как прикидываетесь».

Трудно сейчас передать всю радость освобождения от белогвардейского ада. Конечно, свобода наша была

относительной. Кто мог сказать, как все сложится дальше? Но это была все же свобода!

В Усолье мы попали не сразу. Вначале мы оказались в огромном сибирском селе, которое именовалось Александровским. И вполне обоснованно. Оно являлось неотъемлемой частью Александровского централа. Жители его были сплошь тюремные служащие и надзиратели.

И удивительно, с каким добродушием и сочувствием отнеслись александровцы к нам! Каждый дом считал долгом покормить и сказать доброе слово. Одна женщина, снабдив нас белыми шаньгами, высказала свое сочувствие так:

— Слыхали мы, как распинали вас колчаковцы, но недолго осталось им тиранить людей...

Старик Топталин с усмешкой говорил тогда:

— Вот дела-то! Выходит, что и самим тюремщикам осточертели беляки...

В тот памятный день мы впервые наелись досыта и запаслись впрок всякой снедью, впервые спали на «воле», расположившись в сарае на душистом сене.

Утром местный стражник, посмотрев наши бумаги, предложил «следовать по назначению» — в село Усолье.

До Усолья было недалеко, верст десять. Но чтобы преодолеть такой путь, нам потребовалось два дня. Так «обработали» нас в белогвардейских застенках!

Глава четырнадцатая

УСОЛЬЕ СИБИРСКОЕ

Кто теперь не знает тех мест, замечательных мест новой Сибири, расположенных по берегам Ангары? Там, неподалеку от Усолья, выросла величественная

Братская ГЭС. Не узнать и самого Усолья, ставшего теперь одним из крупных городов и промышленных центров страны.

Там, как и во многих других районах Сибири, уже преданием старины глубокой звучат такие, давно ушедшие в прошлое понятия, как «таежная глушь», «каторжный тракт», «кандальный звон». Предана забвению и песня, посвященная Александровскому централу:

Далеко в стране Иркутской,
Среди скал и среди гор,
Обнесен стеной высокой
Чисто выметенный двор...

Тогда, в 1919 году, страна Иркутская оставалась краем заключенных, и колчаковцы хотели оставить ее такой, какой она была при царе, чтобы держать в ее мрачных казематах людей, поднявшихся на борьбу за новую, свободную Россию...

Когда мы прибыли на место «вечного поселения», нас поместили в какой-то землянке, обязав являться периодически к начальнику полиции.

Первой нашей заботой стало — освободиться от тюремного одеяния, принять хоть какой-то человеческий облик. Попытались было заготовлять дрова для местного кулака, но лишь осрамились. Какие из нас были дровосеки! Шатало, как говорят, от ветра.

Товарищи мои с ведома полиции разбрелись кто куда, а Топталин с сыновьями намеревались перейти линию фронта под видом бродячих нищих и затем вернуться в Мелекесс. Я же решил пока остаться в Усолье, чтобы хотя немного набраться сил и нащупать связи с местными коммунистами.

А они, как оказалось, были рядом в существовавшей

тогда в Усолье профсоюзной организации из числа рабочих соляных промыслов и каменноугольных копей, разрабатывавшихся в окрестностях села.

Появление выходцев из централа не прошло незамеченным для усольских подпольщиков. От них под видом профсоюзного работника пришел в землянку молодой паренек и вручил нам немного денег. Он дал мне адрес профсоюза и попросил зайти туда, чтобы расписаться в получении денег.

Там, в комитете профсоюза, я познакомился с человеком, о котором у меня осталось одно из самых светлых воспоминаний юности. То был Константин Мальцев, руководитель подпольной большевистской организации. Он прежде всего занялся моим трудоустройством — направил в кооператив села.

— Там розыщешь Андрея Петровича Барышникова, — сказал Мальцев. — Он поможет тебе освоить дело.

Барышников (настоящая его фамилия Аверин) был одним из бывших советских работников, кажется, из Благовещенска. Найдя пристанище в усольском кооперативе, он держал связь с местными большевиками. Вскоре мы сошлись с ним очень близко, доверяя друг другу во всем.

Профсоюз попытался подыскать мне квартиру (жил я по-прежнему в холодной сырой землянке). Порекомендовали зайти к местному сапожнику, но тот отказал:

— Взял бы я тебя, — сказал он, — да как бы беды не нажить и для себя и для тебя. Полиция и так косо смотрит, того и гляди съест с потрохами.

Некоторое время спустя, квартира нашлась неожиданно. Учитель усольской школы по фамилии Солтан, встретив меня, сказал:

— Вижу, как трудно живется вам у нас. Хочется по-христиански помочь вам. Переселяйтесь-ка ко мне, в школьный домик. Комната будет, столоваться можно тоже у меня, конечно, за небольшую плату...

Я посоветовался с Авериным. Он слышал о Солтане: офицер старой армии и, по всей видимости, порядочный реакционер.

— Приглашает к себе — значит, чует недоброе, — пришел к выводу Аверин. — Вернется Красная Армия — ему может не поздоровиться. А тут у него будет козырь: приютил-де вашего, из Александровского централа.

Решили все-таки воспользоваться жильем и присмотреться, что это за птица, «по-христиански» заботящаяся о бывшем красногвардейце.

Так поселился я в уютном школьном домике, и очень скоро понял, что представляет из себя мой хозяин. Когда к нему обратились колчаковцы с просьбой уступить часть школы для госпиталя, эвакуированного из Томска, Солтан охотно закрыл школу и целиком сдал ее под госпиталь.

Однако уходить с этой квартиры мне не рекомендовали, чтобы не вызвать к себе подозрения, и я продолжал встречаться с Солтаном, стараясь ничем не выдать себя. Но это было не легко, и я все чаще стал спрашивать Аверина:

— Когда же, черт возьми, начнется настоящее дело?

Тот успокаивал:

— Потерпи, осталось недолго ждать.

И действительно, не прошло и недели, как меня пригласили в дом того самого сапожника, который опасался, что полиция «съест его с потрохами». Там я встретился, наконец, почти со всеми коммунистами Усолья.

Мальцев познакомил нас с командующим забайкаль-

ской партизанской армией Е. Лебедевым. Собрание было коротким: нас предупредили, что остатки колчаковской армии во главе с генералом Каппелем вскоре могут оказаться в наших местах. Коммунисты должны по первому сигналу получить оружие из подвала на краю села и начать вооруженную борьбу.

Тут же были назначены командиры, связные, установлены условные сигналы.

— А пока,— сказал Мальцев,— быть на своих местах и поочередно нести ночную охрану возле домов, где сосредоточивается оружие...

То была смелая и исключительно опасная операция. Коммунисты, что называется, ходили на острие ножа. Под носом белочехов и полиции накапливали оружие, готовили боевые отряды, чтобы по сигналу обрушиться на ненавистного врага.

Наступал желанный конец опостылевшей «торговой деятельности». Казалось, уже завтра мы пойдем, как говорил Аверин, «снимать голову Колчаку». Но тут случилось такое, что чуть не сняли голову с нас.

На другой день после собрания в наш магазин ввалилась целая ватага белых офицеров. Они следовали на Дальний Восток и решили запастись сигаретами.

Один из вошедших стал особенно пристально вглядываться в меня, и я сразу узнал Спиридонова, того самого мелекесского гимназиста, папаша которого схватил меня в Симбирске.

Вот это встреча!

Я быстро юркнул в заднее отделение: авось не признает. Но где там! Он слишком хорошо знал меня, и теперь, прощаясь не только с Мелекессом, но и с матушкой-Россией, не преминит свести последние счеты...

— Что с тобой?—с тревогой спрашивал Аверин, когда нежданные покупатели ушли.

— Мне надо немедленно скрыться, — сказал я и сообщил Аверину о случившемся. Но он стал убеждать меня остаться.

— Кто знает, как истолкуют твое бегство, как отразится это на всех, с кем ты встречался. А через день-два будет уже сигнал...

Поразмыслив, я остался: что будет, то будет.

Вернувшись после работы в школьный домик, я тотчас столкнулся с Солтаном. Ему все было известно. Отозвав меня в дальний угол двора, еле сдерживая охватившую его нервную дрожь, он срывающимся голосом произнес:

— Только что были у меня из контрразведки... Расспрашивали о тебе. Интересовались, не из Мелекесса ли ты, но я сказал, что ты из местных, сибирских. С тем и ушли.

А ночью был неожиданно подан сигнал, и я вместе с коммунистами Усолья ушел в партизанский отряд. Опасность ареста миновала.

Глава пятнадцатая

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

НАШ усольский отряд стал частицей партизанской армии. Эта армия как бы вобрала в себя всю силу ненависти сибиряков к колчаковцам и чужеземным захватчикам.

Не было ни одного селения, где бы враг не ощущал внезапных ударов партизан. Многим подразделениям

армии Колчака так и не удалось уйти на Восток, к Тихому океану: они уничтожались на всем протяжении Сибирской железной дороги.

Мы стали было уже хозяевами в Усолье, создав там свой ревком. И только после того, когда получили приказ «очистить зону отчуждения», пришлось уйти из села, на 60 километров от железнодорожной линии.

«Зона отчуждения». Это полоса вдоль железной дороги, которую выторговало командование белочешского корпуса для беспрепятственного отхода своих войск на родину. Однако военачальники корпуса пропускали через представленную им зону и отступавшие части Колчака. Хитрый маневр! Но он, как известно, не удался. Колчак получил заслуженную кару, а его «золотой поезд» оказался в руках партизан...

* * *

Итак, я прошел весь белогвардейский ад, вырвался из него, чтобы продолжать борьбу. Это поистине явилось для меня вторым рождением. И все-таки этим словом хочется назвать не тот день, когда вышел я из Александровского централа, а другой, еще более незабываемый — день вручения мне партийного билета.

После долгого и мучительного кошмара колчаковщины партийные собрания носили отпечаток какой-то особой торжественности и непередаваемой взволнованности. Они всегда завершались исполнением «Интернационала». Кажется, никогда не было для меня ничего более волнующего и величественного, чем те собрания. После «Интернационала» люди уходили преображенными, как бы обретшими крылья и новые силы для «последнего решительного боя».

То собрание, когда принимали меня в партию, про-

ходило на квартире Константина Мальцева. Простая, будничная обстановка. А у меня в душе все пело.

Чего стоило одно то, что рекомендовали меня, ставшие родными и близкими, — Мальцев и Аверин. На этом собрании было произнесено имя того, кто особенно был дорог мне, — имя Евгения, моего брата.

Давая мне характеристику, Андрей Петрович Аверин, обычно очень скупой на высокопарные слова, на этот раз расчувствовался.

— Здесь нет главного твоего рекомендующего, — сказал он, — брата твоего Евгения, о котором мы слышали много хорошего от мелекесских ткачей, вышедших из централа...

Да, то был день моего второго рождения. Как только установилась связь с Москвой, помнится, послал я в Мелекесс телеграмму необычного содержания. В ней было три слова:

«Я, Виктор, жив».

Ответа не дождался. И только значительно позднее, будучи уже в Москве, я случайно узнал, что Евгения уже нет в живых. Он, учитель и наставник мой, родной Енюша, отдал жизнь во имя того чудесного будущего, о котором так любил говорить словами Чернышевского:

«Будущее светло и прекрасно. Любите его, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести...».

* * *

Перед моим мысленным взором возникает также другой образ — образ моего рекомендующего Константина Мальцева.

Он принадлежал к той когорте старых большевиков, имена которых храним мы в сердце, как святыню. Биографию его знаю плохо. Политический ссыльный. Учи-

тель одной из школ золотых приисков Бодайбо. Чудесный конспиратор, ленинец. Вот все, что мог сообщить мне о нем Аверин.

К нему мы относились с благоговением. Его доклады и лекции в Усолье стали для нас первой высшей партийной школой. Встречи с ним облагораживали нас. Слушая его, мы становились мужественнее, непримиримее ко всем мерзостям старого мира. От него воспринимали мы то большое и возвышенное, глубоко партийное, чем обладали представители старой ленинской гвардии.

Недолго оставался Мальцев в Усолье. Москва отозвала его для работы в наркомпросе.

Перед отъездом в Москву состоялось заседание Усольского районного Комитета партии, председателем которого был тогда Мальцев. На этом заседании решался вопрос о его преемнике. Какое же было мое удивление, когда он предложил передать партийные дела мне.

Был я тогда председателем ревкома села Усолья, а после отъезда Мальцева стал и председателем районного партийного комитета. В этой двуединой должности и встречал я части Красной Армии, победоносно, двигавшиеся на Восток...

С Усольем я распрощался в 1920 году, когда на молодую Советскую республику напала панская Польша. Об этом нам сообщили на областной Иркутской партийной конференции. Тут же было принято решение о мобилизации коммунистов на польский фронт. Вместе с большинством участников конференции ушел громить белополяков и я.

Началась моя новая боевая жизнь. Я снова стал солдатом революции, боровшимся за то, чтобы никогда не удалось врагу повторить свой «эшелон смерти», чтобы скорее пришел на нашу землю солнечный рабочий Май.

7 коп.

УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРИВОЛЖСКОГО КНИЖНОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВА
1967